



«Ода радости» – о том, как жить, когда твоя мама безнадежно больна, а ты сама готовишься стать мамой. Сложный текст о прозрении, приобретаемом через рождение новой жизни и утрату прошлой.

Журнал
«Дружба народов»

Валерия
Пустовая

ОДА радости

Книга утраты и любви, которая у роковой черты
осознанней и сильнее

Валерия Пустовая

Ода радости

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Пустовая В. Е.

Ода радости / В. Е. Пустовая — «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-106191-3

Первая книга прозы авторитетного литературного критика Валерии Пустовой – история без вымысла. Предельно личное, документальное свидетельство об одновременном проживании смерти и материнства. Умирание и вскармливание, горе и праздник, отчаяние и нежность, инфантилизм и взросление в этой книге идут рука об руку. У автора получилось на своем опыте показать, как в точке соединения «черного» и «белого» обретается правда жизни и глубина счастья. И как жизнь сама воспитывает нас, пока мы учимся воспитывать своих детей. Эта книга для тех, кто боится потерять и учится обретать. Книга утраты и любви, которая у роковой черты осознанней и сильнее.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-106191-3

© Пустовая В. Е., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Вместо предисловия	6
Одна	7
В свете точки	7
Ода радости	13
Земля кочками	15
Исповедь утенка	19
Потрать с толком	22
Вместо встречи	24
В какой руке	29
Как попасть в чудесный сад	30
«Чуда не случилось»	35
Утро утраты	38
Соломенная нога	46
А был ли мячик?	54
Манго из Мьянмы	55
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Валерия Пустовая

Ода радости

© Пустовая В., 2019

© ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Вместо предисловия

Что тут скажешь?

Дочери теряют, матери обретают.

Это в порядке вещей.

Разве дочь – не та, что однажды потеряет мать?

И разве мать – не та, что без конца обретает, родив?

Это – нормально. И, в конце концов, это хорошо, если так, если не наоборот.

И если не разом, в один и тот же, и прекороткий, как видится теперь, отрезок времени пришлось и потерять, и обрести.

Впрочем, и такое бывает. Что же тут необычного? А я и не собираюсь рассказывать вам что-то необычное. Я не верю в случайности, фарт, проклятия, ловушки судьбы. Хотя и у меня не хватит сил сказать, что все вышло так, как надо.

Нет, мне не надо – так. Не было надо, чтобы долгожданный ребенок от наконец полюбившегося мужчины родился в тот год, когда мамина участь стала явной, скорой и неотвратимой.

Но так случилось, что жизнь моя повернула разом на зиму и лето, будто разбежалась двумя солнцами.

Эта книга тоже и росла, и никла. Она о самом драгоценном – и горестном.

В ней много мелочей, но нет случайностей.

В ней два солнца, но жизнь одна.

Я хочу рассказать вам не об утрате и даре, не о горе и счастье.

А о том, как не сумела их разделить.

И это тоже – нормально. И это – хорошо.

Одна

В свете точки

Сегодня, когда моей бабушке в Киргизии исполнилось девяносто лет, а ее дочь шестидесяти шести лет похоронили на подмосковном кладбище рядом с ее же сыном, нашедшим вечный покой девять лет назад, я думаю о времени. О том, что в романах-то я люблю такой поворот: время истекает, и пересыхает роман, и пуст исток событий. Это момент, когда в книге кончается ресурс действия. Герои еще трепыхаются, еще надеются вывернуться и подогреть интригу, перетоптаться и выскочить в новую главу жизни, но автор торопит кульминацию и развязку. Это пора, когда возможности перерождаются в рок, намерения – в судьбу, догадки – в знание, с которым маяться в эпилоге и далее везде. Это созревание невысказанных желаний, это разлитие вскрытой крови, это опадание плодов, вспревших от приливов надежд и печалей.

Наше последнее с мамой лето в Киргизии я торопилась перелистнуть. Со всеми его привычными радостями – базары-горы, кафешки-барашки, арыки-алычи – все это не менялось из года в год и тем пленяло, но и держало в плену: ведь и в жизни моей ничего не менялось. И про последнее мое лето с мамой на отдыхе я не запомнила ничего особенно хорошего, потому что все хорошее было как всегда. А вот моя тревога осела в памяти, как самый дурной поступок.

Я хотела оказаться с мамой в Москве, и на новых условиях. Взрослой дочерью, встречающей ее пирогом и внуком, приведшей в дом мужчину, на которого мы с ней можем наконец положиться. Маме домой был куплен кухонный диван, такой удобный, что режет, как вспомнишь о ее страданиях, когда с него уже почти не вставала.

Я уехала из Киргизии, а она осталась. На первый свой полный год у бабушки, в изнанке спелого лета, в Венеции зимой. Слышала я, есть в Киргизии такая долина смерти, куда не стоит соваться в морозы, иначе застрянешь и пропадешь. Я никогда не видела этого места, но сегодня, думая о маме в зимней Азии, я представляю себе этот заснеженный капкан за окнами уютной двухкомнатной квартиры в кирпичном доме, в хорошем районе у парка, с видом на набережную сухого арыка, с вечной новогодней елочкой в углу и гирляндами старых родственных открыток по стенам под портретами дедушки и бабушки Ленина. Когда бабушка – впервые за много десятилетий – позвала маму остаться и позаботиться о ней, мама попала в ловушку. Она провела год в стране своего детства, где когда-то был союзный рай, а сегодня платят мукой и консервами за голоса на выборах, торгуют никому не нужными русскими книжками на барахолке вдоль заброшенной железной дороги и выстаивают первые маленькие очереди за фастфудом. В домах спилены батареи: за отопление запрошено столько, что проще сдать на металлолом. Бабушка боится ставить обогреватель: розетки изношены, чинить некому; при мне когда-то вызывали электрика – пришли три матерых пьяных киргиза и толком ничего не сделали. Холода стоят российские, и до апреля не прибывает тепла. По стране прокатывается волна бытовых пожаров. Мама кипятит воду на единственной плитке, переодевается дома в пальто и сапоги и занимается самолечением в холодной воде.

Я страшно боялась, что к ней там вернется старое заболевание бронхов, но обошлось. Мама страшно не хотела бросать выгодную подработку няней – у знакомых, да в центре города, с неполной неделей, но обошлось. Ее подопечная уехала на родину папы, во Францию. Мы радовались такому удачному совпадению: теперь маму ничего в Москве не связывает, нет повода для метаний, Бог так славно все устроил.

Когда вышло так, как хотел, тебе это кажется преисполненным смысла: в мире появляется логика – твоя собственная, но ты приписываешь ее высшей силе. Когда все так, как хотел, ты

хвалишь себя за то, что живешь в ладу с Провидением. Не вываливаешься и не торчишь, не вопиешь, не ропщешь.

Потом один из врачей, туманно обосновывая отказ в операции, скажет ей: «Вы слишком долго где-то ходили...» Ясно где: мама целый год ухаживала за бабушкой, не нуждавшейся в уходе, отвоевывала у нее право полистать интернет и поспать днем, когда сморит, помыть пол и выбросить старые тряпки – бабушке, как и мне, хотелось пожить с мамой на своих условиях. Как бы то ни было, мама отдала дочернему долгу год, и разве это не достойно награды?

Потом я открою ее переписку со старым другом и прочту: «Выбора у меня нет». И вспомню, как жаль ей было застрять в чужой уже стране, когда в Москве так много недосмотрено, недоделано. Ей не хотелось проживать еще сильные свои годы там, где даже в библиотеку не запишешься: требуют оставить в залог местную ID-карту, а главное развлечение – базаровать. Весь год мы с мамой развлекались: обсуждали вытачки и оборки, длину и цвета, и она никогда не называла цвет правильно – так, как я бы его назвала, и было много смешной путаницы, и мешок в обратную дорогу рос, а мама, по привычке своей экономить, еще раздумывала, брать ли до аэропорта в соседнем городе такси, но я уговорила, и когда она переступила порог и я увидела, кто привез мне огромный тяжелый мешок замечательных, недорогих, теплых, нужных вещей, в которых я теперь что ни день, – ...

«Мама должна быть мягкой», – всегда шутила я. И гордилась, что мама моя кругла, и забывала юные ее фотографии, где высокая грудь и талия, какой у меня не будет вовек. Теперь я помню только на ее опавшем лице большие круглые глаза – доверчивые и удивленные, как у заблудившегося в ночи ежика.

Выбора нет, считала мама, и я вслед за ней. Я люблю ситуации, когда выбора не остается и не надо мучительно выбирать, потому что единственно правильное дано. И только теперь задумалась, откуда берется такая определенность решения. Если нет выбора, значит, есть глубокое и скорое внутренне согласие на то, что дано. Даже долг оставляет выбор: должен ли ты – сам ведь и решаешь. И мама решила, что должна.

Хотя никого из других моих знакомых женщин ее возраста нельзя было бы подписать на год жизни в таких условиях. Их внутренний компас стрелнул бы, отворачивая. Но мамина чуткость к себе сломалась давно.

«Была цветущая женщина, а теперь посмотри – как из концлагеря», – сетовала она, а я рада была узнать, что она все-таки считала себя цветущей, хотя отвергала маркие белые пуховики, жалела кожаное пальто, ленилась подкрашиваться, не терпела гладить. Больная, она вдруг стала на некоторое время стройно выглядеть и изящно одеваться, пила из чашечки с блюдцем, как, призналась, всю жизнь мечтала и не пила, покупать телепрограмму в журнале «7 дней» и удивляться себе, почему сэкономила на нем раньше.

И зачем я сетую на год в Киргизии, прошедший без диагностики и лечения, если знаю, что, будь даже мама в Москве, мне ох и не сразу удалось бы уговорить ее пойти к врачу.

Фантазии о том, как бы вы провели свои последние дни, утешают только молодых и здоровых. Мне тоже грезился Неаполь или Прага с мамой, но стало бы у нее сил до ванны дойти.

Не покупайте, говорит, больше такое здоровенное средство для посуды. Лежу, целыми днями только его и вижу.

Наше время начало пересыхать весной, когда я, отойдя немного из-под сени старого замкового парка в Шотландии, узнала от коллеги по Скайпу о том, что журнал, где я проработала больше десяти лет, лишится дома и едва сводит концы с концами. В тот же день в Фейсбуке прочла, что умер долго борющийся с болезнью муж писательницы Анны Старобинец.

Я хотела изменить себя, но чтобы мир вокруг ждал меня прежним, как брошенная в обед детская. Как будто время течет не для всех. И снова думала, как хорошо устроил Господь: вот ведь и выигранный по конкурсу отдых в Шотландии перед, пугали, материнской страдой. Я

оплатила курс у психолога, чтобы никакие зацепки в прошлом не помешали мне всей полнотой сердца принять накатывающее счастье.

И я была счастлива, да. Все эти полгода с мамой в Москве, от 15 июля, когда ее встретил в Домодедове мой муж, до 25 января, когда я увидела последнее, рефлекторное движение ее рта, я жила счастливо, как во сне о том, что сбылось заветное: в доме есть мужчина, чтобы опереться, и сын – радоваться, и мама – показывать мои достижения и видеть, как она ими довольна. Горю тесно в наших счастливых, до краев наполненных заботами днях, оно затаилось, замылилось сериалом «Коломбо», заелось овсянкой и курочкой, сомлело в груди стиранных маленьких одежд, уснуло под свет улыбок. Эти полгода мы жили как обычно – я прочитала в интернете, что это вернее всего. Мама сердилась на мужа, сидевшего в смартфоне во время еды, я возмущалась ею, откинувшей мои волосы от лица ребенка, муж терял терпение оттого, что ему не позволяют самому решить, когда мыть посуду. Она запрещала мне носить слинг и ехать с ребенком на вещевой рынок, я отбирала у нее копченую колбасу. Мы обсуждали литературные новости, посмеивались над сценаристами британского сериала, принимающими нас за дураков, удивлялись иным вопросам к батюшке на канале «Спас». В наш самый последний вечер дома мы сплетничали про номинации НацБеста, хотя в пору было схватить ее за мизинец и сидеть, лбом вжавшись и повторяя: «Мама, мамочка», но так мы уже провели день до того.

Днями было сухо и тепло, и только во сне – два раза помню достоверно – я рыдала от горя, в голос, до встряски в груди.

Я просила у нее прощения, а она отвечала: «Да ну, сколько и я по молодости глупостей делала, вот, скажем, когда эту квартиру дали, не хотела в ванной ручку к стене прикручивать – зачем мне, думала, я и так, – а теперь без нее ни залезть, ни вылезти».

Я обозналась в кульминации. Весь этот год, пока мама жила у бабушки, я восходила, охотясь за шотландскими овцами и тенями в своем прошлом, не к материнскому свету, а к сиротской мгле. Кто-то свыше знал, для чего на самом деле скоплены были мои телесные и душевные силы. Кто-то свыше знал, зачем именно сейчас у меня родился сын.

Он был с нами с первых минут горя, когда я с ним на руках поднялась на второй этаж диагностического центра «Инвитро» и узнала, что отныне держу в руках две жизни, нуждающиеся во мне почти с равной интенсивностью. Я гуглила пестушки-потешки и проценты выживаемости. Мы волновались, как на гонках, оставляя его одного для безболезненных, но нудных процедур, которые маме приходится выполнять через день. Раз в автобусе мы с мамой заспорили о квотах на лечение и в нервах едва не упустили коляску на выходе. Мы прятали от него шотландский плед, редкостно яркой расцветки, которую я для мамы едва разыскала: он любил общипывать его, и мы боялись, что наестся шерсти.

«Пойду посмотрю на Буличку и тогда усну спокойно», – бывало, говаривала она, прозывая внука в честь слова «забульбулькал», тут же ею самой для него и придуманного. С тех пор имя Булка приходит мне на язык куда скорее, чем его настоящее.

Он показал себя большим другом. Работал переключателем: прогонял холодную враждебность диспансеров, развеивал страх перед новыми симптомами ухудшения, тянул на себя мысли. Широко улыбался ей и не замечал, как она изменилась, и у нее отлегалось от сердца: что, ты меня не боишься? Хватал за руку, в которую она приучила его утыкаться, чтобы заснуть, а теперь только и могла, что протянуть навстречу. Я до последнего подкладывала его к ней на диван, и она говорила слабо, но уверенно: «Не бойся, не упущу» – и держала хоть ногой.

На простыне с романтичным принтом в лодочках, выданной сестрой-хозяйкой, он провел с нами в хосписе полтора дня. На последних ее минутах крепко спал, а затем сразу проснулся и – привычно, но тут так вовремя – заныл.

«Я теперь надеюсь, что буду смотреть на вас оттуда. На Люличека – пауза – и на Люлечку», – сказала она, перешивая еще одно имя внуку из моего старого, домашнего, и я, отвернувшись, заплакала: она надеялась, что приедет на пару месяцев подлечиться и укатит

обратно к бабушке, она надеялась, что не станет инвалидом, она надеялась, что вылечат, – в стольких своих надеждах она обманулась, так трудно поверить, что хоть этой суждено оправдаться.

Я не могу спокойно слушать детскую песню «Сюрприз». Каждый новый день приносит нам новую напасть, тело сбивает то там, то тут, круг возможностей сужается, скачущая кривая желаний вытягивается в лежанку. В декабре, когда окончательно решено, что новой химии ей не выдержать, мама впервые просит: «Господи, дай хоть пожить». Но уже подступает неделя, отнявшая у нас завтра. Все эти месяцы мы откладывали прощальные разговоры, перебивая печаль хлопотами о том, что под носом, и вот когда мама, велев перебрать две коробки своих лекарств, наконец готова – «завтра все позаписываем, поговорим...» – наутро оказывается, что грудь ей заложило одышкой. «Так много воздуха, а мне не хватает, Господи, дай хоть подышать». А когда я, накануне протоптавшись до вечера в палате и дома толком собравшись, чтоб засесть еще на день, примчалась в хоспис к врачебному обходу, мама уже была без сознания.

Никто не знает, как окончит жизнь, но потом кажется, что можно было и догадаться. Бог ревнив, говорят, и бьет туда, где теснее привязан к миру. Я смотрела, как у мамы отбирают ее последнее утешение – потрапезничать весело, понабрать вкусок, поделиться лучшим на столе. Вот они, наши гастрономические вехи к прощанию.

Пирог с вишней, с которым я бегу к ней из лавки «Караваяев» и плачу, потому что он не то, что может ей помочь, но то, что я могу для нее сделать. Креветки на гриле в новой районной кафешке, где мама успела напоследок посидеть в зеркалах и светском общении. Сервелат «татарский», купленный в мордовской лавке, которого она откусила колесико, поприветствовав: «Я так соскучилась». Натуральные малиновые конфеты, которые принесла ей, чтоб хоть немного подсластить унылую диету, она схватила радостно, но вскоре выпустила, пожалившись: косточка там, говорит, внутри, такая колючая. Четыре сырника, на которых маме пришлось дожидаться нас до самого вечера: мы ушли за покупками, думая, что она сама возьмет себе что-нибудь из холодильника, но сил встать и погреть не хватило, и вечером она сказала с обидой отлученного от груди малыша: «Уйду от вас, вы меня не кормите!» Селедочный торт под Новый год, для которого она, собрав силы, встала и почистила вареные овощи и иваси, а я от усталости и спешки выбросила банку с рассолом прямо в мусорное ведро, и пакет протек, и игровой мат ребенка забрызган, и в ванну он не помещается, и я выношу торбу с грязным бельем и со зла толкаю дверь ногой – и попадаю в стеклянную вставку, и сижу под разбитой дверью, рыдая, что вот маме как будто сегодня лучше, что она хотела мне помочь, а я опять по своей глупости и нетерпению все испортила. Протеиновые бутылочки с ванилью для питания ослабленных, которые мама называла «моя мишка» и говорила: «моя любимая пришла» – с такой нежностью, что я всякий раз обманывалась: про меня? Краб камчатский и лимонад, которых вдруг запросила в свой последний день дома, – лимонад едва пригубила и деликатес, едва клюнув, отодвинула: «Не хватало еще крабом блевать». В хосписе она скажет: «Как у вас вкусно готовят», хотя речь пойдет о протертых макаронах и котлете, и предложит мне: «Попробуй!» – как всегда предлагает самое вкусное. Я кормлю ее с ложки, будто ребенка прикормом. Она спросит, что это, и скажет задумчиво: «Ну да, это по мне, а то я на лошадь уже пересела...» – я не сразу пойму, что в виду она имеет конскую колбасу, которая от тоски по обильной и острой еде ей даже приснилась.

Это была ее, видимо, последняя шутка. Впрочем, нет: последней придется признать тот факт, что ушла она в Татьянин день. Мы часто прикалывались над тем, что в жизни ее, что ни знакомство, всюду встречают Татьяны.

Это был и день восьмидесятилетнего юбилея Высоцкого, чьи песни в кустарном еще, слепом издании мой отец подарил маме и подписал: «Жене, которая, как и ее кумир, не ищет в жизни легких путей».

Я знаю, как важно мне полюбить легкие пути. Суметь понежиться, положиться, помедлить, отказать, оставить себе – все то, чему не считала нужным учиться она. Но на неделе, когда повторное КТ показало, что химия не подействовала, я впрягаюсь в коляску с малышом и продуктами и в ответ на предложение мужа помочь кричу: «Нетяжело!» – и тащу что есть силы, и чувствую сиротскую эту смелость: вот-вот мне просто не останется для кого себя пожалеть.

Иногда мама отворачивалась от внука: где-то услышала, что пожилым и больным не надо смотреть на маленьких. «Какая чушь!» – говорила я, тем более уверенно, что знала: такая, как она, точно от ребенка не заберет. Когда в московской больнице умирал ее брат, приехавший к нам попытать позднего нового счастья, мама держала его за руку и говорила: «Хочешь – возьми всё!» Брат в поздние свои годы был доморощенным экстрасенсом и, вероятно, понял, что она про энергию.

«Это как колодец, из которого черпают и не вливают», – выскажет психолог свое мнение о заболевании моей мамы. Я тоже черпала, я пила из него при всякой возможности, я приникала к ней, а кто у меня еще был? Она огорчалась, только если отданное ею не шло впрок.

Крестный путь, я чувствую это как крестный путь. Она вернулась домой, чтобы пройти его до конца. Сквозь вопли: «Сдохни меня!», обращенные к Богу, в чьей власти оборвать страшное до срока, через унижение немощью и нечистотой, через измену тела, шатнувшегося под тяжестью беды, и бичевание словом: «Кто только мордой меня не возил», как скажет о медицинских работниках. А главное, через несправедливость – незаслуженность, невольность горя. «Не пожила ни там, ни здесь, никому не помогла... Так с хорошими людьми не поступают». И, как я ни убеждаю ее, что Божий суд свершается не в дачах и здоровых зубах, обильных потомках и заграничных выездах, она верит, что оставлена.

Вся история ее болезни уместилась для меня в один-единственный образ: когда-то я провожала ее к бабушке, и купленные для нее московские конфеты перевесили в багаже, и маме пришлось подхватить полные конфет, рвущиеся пакеты и, трепеща, что окрикнул и не пропустят, пройти на паспортный контроль. Она движется прочь от меня одиноким испуганным ежиком, она обременена тяжелой своей недалёковидностью, она надеется, что проскочит, она боится, но тащит запасенное, она идет доверчиво и неприкрыто: ей просто некуда деваться.

Когда она ехала с консультации в диспансере, в метро у кого-то заиграла киргизская песня. И мама заплакала. То, что ожидало ее в родном доме, было так страшно и не нужно ей, что она готова была сей же час уехать на года к своевольной матери и неоттапливаемой зиме, лишь бы уехать здоровой.

Но выбора у нее теперь точно не было.

Дальним знакомым в Москве мама велела сказать, что уехала в Киргизию. Дальним знакомым в Джалал-Абаде бабушка велела сказать, что мама осталась лечиться в Москве.

Обе эти версии я поддерживаю. Иначе с чего бы к моему сердцу прилило столько света, покоя и утешения, когда она отошла? «Ну умница, отмучилась!» – прошептала я ей, от души поздравляя и плача, потому что в расставании – как я читала где-то в детстве – большую долю печали принимает на себя остающийся.

В горе утешают только горькие книги. Одна история из книги Анны Старобинец «Посмотри на него» навела меня на светлейшую мысль. Речь шла об обреченном еще в утробе ребенке, рожденном, чтобы счастливо и полно прожить на руках у матери всего день. По сравнению с этим днем шестьдесят шесть лет – какая это богатая, долгая, разнообразная жизнь! Моя мама родилась в Баку, выросла в Азии, училась в Сибири, работала в Москве. Она танцевала и плавала на байдарках. Она делала мостик до сорока. Она была одним из первых советских программистов и работала в Госплане, и я играла там, не подозревая, в пелевинского принца. Она одна вырастила дочь, но всю жизнь у нее отбою не было от поклонников. Она побывала в Италии и Париже. Она ходила со мной на «Дебют», Пушкинскую премию, новогодние вечера «Октября» и, однажды, на «Русский Букер». Она любила персики и булочки,

колбасу и пиво. Она шила себе платья и делала химическую завивку. Она работала честно и любила делить по справедливости. Она подавала на опохмел и никогда не била детей.

...Когда я впервые внесла сына в храм, я проговорила: «Смотри: тепло, красиво, Бог...» – и сама испугалась сорвавшейся глупости: кто же Бога на последнее место ставит? Но потом поняла: так сработал закон первого познания. Сначала грудь – потом мать, сначала купанье – потом дом, сначала игра – потом навык.

Сначала вместе – потом семья.

Бог начинается там, где тепло и красиво, иначе остается абстракцией.

Семья начинается там, где тепло и спокойно, иначе это толкучка случайных людей.

В слишком скоро – и это моя главная сейчас боль – минувшие полгода абстракция семьи наполнилась для меня новым смыслом.

Семья – это те, к кому возвращаешься, чтобы пережить свое одиночество.

Когда в один из самых тяжелых дней у меня ни минуты не было для ребенка и к вечеру он, устав быть золотым и незаметным, заголосил наконец, я склонилась над ним, обнимая и приговаривая: «Неужели ты думаешь, что мы тебя бросили? Ты ведь наш родной человек. В тебе ведь жива моя мама».

Нас двое уже, в ком ты, моя мама, жива.

29 января 2018

Ода радости

Последний раз со мной это случилось так давно, что будто с кем другим: мультяшная вспышка, над которой впору поржать, а ты поливаешь слезами широкое кукурузное поле, по которому носится эта – не вспомнить, зачем затесалась в сюжет, но остался след образа, как имя синдрома, – рыжая хрень. Синдром рыжей хрени – так как-то я обозначила потом для себя эту неуместную силовую реакцию бессознательного, прорвавшуюся в кинозале чувством непоправимого, заброшенного в кукурузу одиночества маленького сгустка жизни, по сценарию, кажется, забытого своими родителями-инопланетянами – такими же рыжими сгустками – и вынужденного теперь искать дорогу домой через мир мультяшных опасностей.

И вот сегодня, на «Головоломке», которой не один благодарный зритель уже прописал многозначность и место в мировом кинематографе, снова подпустило. «Головоломка», разбивающая сознание на пять чувств, десять островов и тысячи упакованных в стеллажи катышей-воспоминаний, учит психологической оптимизации. Предлагает принять линейку эмоционального набора: зовет пожалеть печаль. Наглядно показывая, как запрет на отрицательные эмоции приводит к перегоранию личности. Как круг игнора, куда выталкивают голубую печаль, засасывает в себя и спортивно не унывающую, солнечную радость.

Олицетворения эмоций, покрашенные в опознаваемые цвета: зеленый – тошнит, красный – бодаться – должны в пяти образах, как на пяти пальцах, донести до нас мысль о нашей по меньшей мере пятигранности. Разнотонности личности, неделимой на допустимые и недопустимые спектры цвета. Апология печали – это апология полноты. И к финалу мультика – в диалогах желтого и голубого, которые все меньше смешат, – яснее становится односторонность, даже одиозность прыгающей радости, которая напрасно тянула команду на себя.

Дайте нам быть печальными, позвольте нам быть неустроенными, не тащите в счастье – мотив, укоренившийся в культуре в контру общественным утопиям прошедшего века, доказательство сложносочиненности персонажа, показатель эволюции. Апология печали – апология человечности. Радуются только простейшие, радуются дураки.

Сиреневенькие люди на стремительных тучках – точь-в-точь как голубая печаль из мультя – уносятся от желтого приободряющего мельтешения, чтобы спокойно с собой поноситься.

А мельтешащая желтая хрень, изрядно уже всклокоченная и подуставшая, продолжает натужно выдумывать слова ободрения.

И это надсадное мельтешение, порядком утомляющее толстеньких, на мягких носочках, от печали как раз ничуть не сбавляющих в весе и неустающих людей, напомнило мне одного человека – не черту, а целиком, всю.

«Ты можешь пойти дальше нее», – сказала мне как-то университетская подруга, когда я поделилась с ней, что наконец, после унылой подростковой поры, когда самые близкие сильнее всего теснят, наконец научилась ценить свою маму.

Не как ресурс, а как человека.

Перегорание радости, не умеющей допустить печаль, до последнего не верящей, что где-то не нарыла желтую свою, сияющую сторону, не запустила мячик вскачь, – такое в мультиках не показывают, но в жизни бывает. Видела я эту радость, сидящую в свитере недавно умершего брата, с которым они вместе жгли волка резинового и покоряли первое советское отделение программистов в Томском университете, с которым жили в разных углах империи, но вот довелось – через десятки лет встретились: у одной семья из двух человек, у другого недорассосавшаяся надежда переменить жизнь и подозрение на цирроз.

В «Головоломке» есть это упущение – сквозь ладную схему психологической гармонии просвечивает жизненная правда: такие вот, желтые и встрепанные, – всегда почему-то в един-

ственном числе на пятерых. Один двигатель при четырех тормозах, один рывок на четыре предохранителя.

И мы с моим дядей, да, были в ту пору сиреневыми людьми печали, и, когда не ругались на почве женских (я в двадцать с гаком наконец пережила первую несчастную любовь) и мужских (он в возрасте деда развелся) комплексов, уживались молча и мирно, сопечалюясь каждый себе и не пытаясь растормошить, развеять печаль другого.

И только досадовали на гудок паровоза, прущего на всех парах к новой идее, выкатывающего желтые катыши нехитрых, простецких – дурацких радостей: мама накладывала шестнадцать пельменей, звала в пирожковую лавку в Абрамцево, ставила дядин любимый фильм, который дядя нежно прозвал «призрак, само, оперА».

Ты можешь, да, пойти дальше матери – ведь каждый из нас рождается, чтобы отработать, как материал, для следующего, кто потратит себя чуть более с умом.

Но я не могу пойти дальше, пока не дойду до нее – до радости этой смиренной, до готовности ее смести сиреневые пятна сложности с лица и рвануться к простецкому: вкусному, горячему, обильному – такому, чтобы хватило на пятерых.

Бодриться – мамино слово – такой есть дар. Не унывать. Не сиреневеть. Не трогать катыши золотых воспоминаний руками печали.

Свою печаль приняв как дар – умею вслушаться, вплакаться, вжиться, – я хочу сегодня пожалеть радость.

Раздающую себя на пять частей.

Радующуюся за всех, пока другие лелеют свой сложный непонятый цвет.

В конце концов – и тут мультик не врет против творения, – все начиналось с радости.

Пока не раздробилось на цвета, не обросло кнопками на пульте, пока не забыло золотой чистоты, которой сияет сама сила жизни.

15 июля 2015

Земля кочками

На девять дней подарок – нарочно не придумашь: звонит из поликлиники хирург, которого 8 января, почти месяц назад, вызывали на дом швы снять. «Выполнен, – говорит, – вызов на дом». Нет, говорю, не выполнен, вы так и не пришли. Я, говорит, не пришел, потому что до вас у меня вон сколько еще вызовов. «Ну так, – говорю без ехидства, – помолитесь за нее». И он говорит без раскаяния: «Царство Небесное».

Система, при которой надо месяц собирать анализы, чтобы лечь в больницу, занимать очередь на талон и брать направление на назначение, раздражает даже врачей. Но система объясняет не все и включает в себя не всех.

«Не вы первая, не вы последняя», – дословно говорит мне охранник – и это не в родильном отделении, где фолк и магия еще уместны ввиду чудопроизводства жизни, а в хирургии, и сказано не о жизни и смерти, а о клеенчатом кресле-каталке, на котором надо вывезти неходячего человека за территорию больницы и каталку вернуть. Ночь снежна, таксист на ломаном русском клянется, что подъехал. Это хорошая больница, каталок много, а в прошлой, плохой, мы с санитаром за кресло поспорили: «А мне что делать?» – «А мне?» – но в плохой пофигисты-охранники пустили машину прямо к выкату из отделения, поэтому я и теперь, как ездочка с выучкой, жму на пластмассовые ручки, и мы, уверенные, что выйдем прямо к открытым дверцам такси, выкатываемся с мамой в степь.

Так кажется, что степь кругом, хотя это просто заснеженные задворки больницы, до бетонного горизонта белым-бело – приехали.

«Вы бы хоть спросили, если не знаете». Сердитый охранник разворачивает меня на сто восемьдесят градусов и тут-то сообщает, что такси подъедет дальше и вправо, но право слишком далеко, и я на полпути бросаю кресло, похожее на недосклеенную картонную коробку, в которой съехала набок, будто за своей съехавшей на снежных кочках косынкой, моя любимая кукла с тонкими руками, бросаю и бегу назад, к серым воротам, успевшим опуститься за нашими спинами, в теплый просторный холл хорошей больницы, чтобы переспросить, правильно ли поняла. Тут он и сказал свою некрасовскую фразу.

Направо оказывается КПП, где охранник уточняет для таксиста адрес, велит нам переждать в тепле и выражает уверенность, что машину бы пропустили. Возвращая каталку, я довожу до сведения охранника в больнице разночтения в адресе и правилах. Но в ответ слышу другую попевку: сама виновата. А зачем вы побежали, вот не побежали бы – и приехала бы машина.

Вывалинная в архаике, как в перьях, я вспоминаю, что и в плохой больнице охранник был тоже как из сказки – обиженный Емеля. «Я, – говорил знакомой, не приглушая голос в чумазой гудящей проходной, – почему здесь работаю? Сослали! Да чё, чё? Там опаздывал все время, вот и сослали».

Но эта жертва слишком строгого режима лично вышла из отделения, чтобы подогнать нашего таксиста поближе и подсказать нам, как пересесть в машину.

Зато врач, принявший нас по «Скорой» в приемном отделении плохой больницы, был поначалу куда внимательнее к своим выпискам, выдернутым со злом из-под маминых ног на каталке, так что и делиться ими не захотел. «На словах объясните», – благословил он нас обратиться к районному хирургу, чтоб сняли швы. Вызванная терапевт, в свою очередь уважая свои выписки, потребовала подтвердить необходимость хирурга документально. Бросив грудного ребенка на грустного мужа, я понеслась в плохую больницу, где мне выдали выписку без единого извинения, зато с примечанием: когда я пожаловалась, что хирург велел передать поликлинике результаты хирургического вмешательства на словах, оказавшаяся в приемной доктор с подчеркнутым снисхождением к моей отсталости предположила, что «может быть, он сказал

вам зайти за выпиской завтра?». В ответ я тоже сделала смелое предположение о том, что в их приемном покое, видать, набрали стажеров. «Все сотрудники больницы – квалифицированные врачи», – авторитетно заверила меня доктор, и я уже не стала рассказывать, что молодой хирург не знал, как подступиться к операции, и мерил и рвал одну за другой перчатки, пока санитарка не заругалась и не явился лысый врач постарше и поопытнее, который и сделал что нужно. Не стала, как не заставила себя зайти в кабинет хирурга с вопросом, почему он так с нами поступил, – удовольствие сомнительное, когда получаешь его только на словах и не можешь зафиксировать документально, со словом-печатью от мамы, которая метко прозвала молодого квалифицированного врача «Таракан».

«Вы, я вижу, не в себе», – сказал маме как-то на приеме врач, записавший в листе осмотра с ходу, не взглянув: «кожа розовая». И на просьбу выдать результаты анализа вскрикнул: «Зачем вам? Для коллекции?!» Хирург, напротив, заглянула – и прямо в душу: «А вы что, думали, на вашу опухоль тут сразу набросятся?»

«Только не тяните», – говорили маме, выдавая лист назначений, исполнить которые в поликлинике реально было через полмесяца или месяц.

«Как схожу в поликлинику, – сокрушалась она, – прихожу с разбитым сердцем».

Наша поликлиника глушит жалобы, как ватное поле, в нашей поликлинике пять рабочих мест отыграно у терминала ЭМИАС, и на УЗИ записывают ручкой в тетрадочку и велят прийти завтра пораньше, талонов нет. «Я была вторая, и передо мной к этому специалисту не брали», – возражает мама. Что ж, отвечают ей, талонов нет, приходите завтра пораньше. Наша терапевт за направление к специалисту удавится, а когда поднажали, готова положить маму в больницу общего профиля – первую, где попадет свободная койка. Но и талон, и направления маме удастся добыть при помощи заведующей терапевтическим отделением, молодой женщины, у которой от этого самого умер отец, а в кабинете у нее, говорит мама с верой в людей, иконы. Потом я напомним заведующей о ее помощи маме как о долге, и она снова пособит и скажет мне: «Окружите маму теплом и заботой», и я пойму, что это значит, но распереживаюсь от другого: меня вывел из равновесия ее редкий здесь понимающий тон.

Хирург по вызову не пришел, да, зато невролог сама предложила заочно заполнить форму на инвалидность и мимоходом сделала мне замечание, что я от волнения неловко держу ребенка.

Дежурная врач с разбавленными серебром красными ногтями жалуется, что потратила на нас больше положенных десяти минут, но ее сутулой сменщик лично поднимается к заведующей и без очереди уточняет для нас информацию о процедуре выписки лекарств.

«Вы без звонка больше не приходите», – сурово выговаривают маме в диспансере, куда она явилась по назначению главного химика через двадцать один день. Главный химик легко дает направление, но в канцелярии считают, что мест нет. И никогда не звонят и не берут трубку. «Видите? – вопрошают грозно, отворачиваясь от мамы к завалам медицинских карт. – У нас сколько работы, а вы нам работать мешаете». В следующий раз наученная товарками мама на консультации сует главному пятитысячную, и он помечает карту специальным листочком, и маму кладут без звонка – и без возражений.

Зато швы на дому нам снимает зашедший для профосмотра с папочкой для бумаг и без единого инструмента врач из хосписа.

У порога хосписа № 5 в Царицыне я впервые понимаю слово «бороться», которое устойчиво сочетается у нас с самым пугающим недугом. Канун Нового года, у крылечка синий олень и снеговик в шляпе, внутри сад комнатных растений, кот под вазой с мандаринами и клетка с шиншиллой по имени Бенджамин. За окном розовая кормушка для птиц, на столе синяя скатерка. Посетителей пускают круглосуточно, сроки госпитализации не ограничивают. Высоценные врачи нянчат мне ребенка и доносят сумки до такси. Психолог лично приносит чай в чашке из ординаторской.

«Сердце ущип», – любила говорить мама, и в хосписе щиплет сердце от милоты и ласки. Этот элизиум кажется наградой за труды, компенсацией за пережитые унижения. Борьба осталась за порогом, борьба там, в диспансерах, для сильных – для живых. Здесь – приют для странников, пакующих вещи.

Это жизнь борется с нами, как вода с плакучей ветвью, прорывает нас, как травяной заслон. У жизни вечное лето, а мы прем на износ через снежное поле, пока не догадаемся сесть и поехать.

Не стоило маме так огорчаться, что не звонят из диспансера: был праздник Покрова Богородицы, и я вытащила маму в храм, и там она дала волю слезам обиды, а не покаяния; это был последний день, когда она еще надеялась, что будет по-честному, так, как должно быть и никогда не бывает. Не стоило ей тогда идти на исповедь к самому молодому и неопытному священнику – мама сказала, что к старым были такие очереди, ей стало неудобно, но что мог сказать ей этот юноша, кроме «почаще ходите в храм, а то вы не чувствуете себя частью Церкви»? Не стоило впоследствии, едва удерживаясь на ногах, дожидаться своей очереди в процедурную на кровь, хотя пациенты пободрее ломились не спросясь. Не стоило чувствовать себя хуже всех, которой и в том, что всем положено, хотя отказать, когда на консилиуме смурной бестактный врач спросил ее, как девочку на экзамене: «Вы лечиться-то хотите?»

Не стоило, правду сказать, и мне тогда с упорством декабристки толкать каталку с мамой до КПП, следовало отвергнуть саму возможность так с нами обойтись – и заставить побегать охранника.

Очереди и обиды, снег кочками. И вот ее отпевает тот самый, молодой священник, не знающий, что невольно пополнил ряд несправедливостей, валившихся на маму хлопьями.

Но он отпевает ее – и это тоже подарок, какой нарочно не придумаешь, потому что это люди ошибаются и вредят, а жизнь справедлива и любит завершать гештальты.

Жизнь борется с нами, пока не примем ее сторону. Когда-то маме приснился мелочный тягостный сон: про очередь и обиду, про обсчет на кассе в какой-то смурной столовке, и она говорила кассирше из глубины сердца: «Вы знаете, я так не хочу жить, мне так надоело жить!» Просьбу «пожить» я наконец услышала от нее накануне Нового года, за месяц до ее ухода. А за неделю до – она лежала и слушала море.

Был у мамы «красненький» – планшет в обложке женской расцветки, она оставила его у бабушки, думая, что скоро вернется и продолжит скайпиться с дочерью. Теперь у нее «серенький» – кислородный концентратор, который она сначала, боясь довериться новшеству, запрещает арендовать, а после тихонько гладит: он баюкает ее, в булькающей дистиллированной воде растворяя будто бы говор людей и шум моря.

Снег кочками, и снег пухом. Когда-то мама тоже перла меня через зиму. Тащила, да упала, поскользнувшись. Лежит, и небо над ней не Аустерлица, а московской окраины, и о прозрении ее роман не напишут, и так хорошо, что можно залежаться и не вставать.

С замерших санок пискнули. «Жива, жива», – отозвалась мама, будто проснувшись и вспомнив, что правда жива, что снега впереди еще поле непаханое и поле предстоит перейти. На санках деликатно замолчали, дожидаясь, когда поднимется и попрет.

Не стоило мне отговаривать маму кататься на коньках в ее последнюю зиму, когда она под видом няни проникла с подопечной на малышей каток в парке Горького и, уцепившись за пингвина не по росту, сначала упала, конечно, а потом...

Не стоило, да, но она и не слушала, и поехала, и от души накаталась.

Мы прем через снег, но жизнь не замерзает. Накануне девятого дня у меня пушистый четверг. Кого ни встретили, все на удачу: нарядный парень, попросивший подержать его ручную сумку, пока он дотолкал мне детскую коляску из перехода, любезный мигрант, шугнувший меня рупором из-под дома, где с крыши ссыпали снег, и сказавший спокойно: «не торопитесь», когда я все-таки попросилась срезать с угла дома обход, и случайная бабка, державшая моего

ребенка, пока мимо проходивший дед, выкинув недокурную сигарету, вправлял на место люльку, только что вылетевшую из коляски вместе с ребенком, когда я штурмовала снежную обочину, скрываясь от машин, тоже руливших по дворам. Ребенок всплакнул всего ничего, и мы оба пошли посидеть в чайную для студентов, и к чаю с ситечком нам погрели сладкую вафлю, и я впервые чувствую, что отдыхаю, и раздумываю, кому же верить.

Как жаль, что люди, встреченные нами в тот день, не работают в медицине. Как хорошо, что теперь я знаю: и они рядом с нами живут.

4 февраля 2018

Исповедь утенка

Главное – вовремя выйти из подъезда с коляской, инсайт ждет. Сегодня – в виде двух немолодых женщин, одна другую спрашивает: чё, мол, не выходишь? «А я же с щенком сижу, – хвалится другая. – Мои купили мопса. Он один не остается. Вот я и сижу».

Как много материнского в этом «мои», и бабушка – закоренелая в материнстве: сколько бы их ни народилось и сколько бы им всем ни стукнуло, они все, от щенка до главы, хочется представить, семейства – не сами по себе, а «мои», и с ними ей, как с щенком, сидеть и сидеть, глаз да глаз, а то отчудят, как обычно: вот, например, мопса купят.

С мамой до конца и чувствуешь себя как мопс. И в последние месяцы срываешься по первому зову, как щенок на прогулку, в сокровенной глубине души радуясь тому, что можешь ей воздать.

Университетская подруга приобщила меня к трудам психолога Берта Хеллингера, мастера семейных расстановок, который писал, в частности, что дети могут воздать родителям за многолетний труд воспитания, только посвятив себя своим детям. По месту отправления родительские дары – пресловутые бессонные ночи, якорное терпение, когда тебя штормит, принимающие объятия и поглаживающие разговоры, наряды и вкусности, подстроенные праздники и будние хлопоты – не возвращаются. Полученная энергия передается вперед, в будущее, она ведь и потрачена была, чтобы дать импульс новому, и в мехи ветхие не потечет.

Я хотела написать пост о чувстве вины, неизбежном перед ушедшими, говорят мне подруги сейчас, да и, пока мама жива, накрывавшем так, что его самого приходилось стыдиться – и дышалось трудно.

Я хотела запустить с самой собой флешмоб огрешек и грехов. От юности до последних дней.

От плетеной корзины, куда мы когда-то ссыпали репчатый лук и которую так удобно было подпнуть в сердцах, чтоб отлетело и отлегло, до асимметрично сплетенной косы, которую мама убрала от лица кормящегося внука, а я взвилась, будто мне волосы выдернули, – много дней спустя в автобусе чья-то незнакомая рука точно так же поправит мне косу, пока я неловко вожусь с раскричавшимся ребенком, и я вспомню мамин жест, как апостол Петр – предупреждение Учителя, что предаст.

От первого серьезного конфликта вокруг впервые назревшего ухода из дома – в юности, конечно, хотелось пожить отдельно, ну хоть попробовать и доказать себе и ей, ну, например, что смогу наготовить парню поднос замороженных голубцов – он после размолвки так и не доест, и выбросит, – и только за тридцать пришло чувство теплоты от того, что вот рядом моя единственная родная на ближайшие тысячи километров душа, – до одной из последних нелепых ссор, когда она не пустит меня с ребенком на рынок, а я не смогу поехать без ее разрешения – так и не научилась делать то, что она не одобряет, и поздно было учиться, и, когда она так же резко скажет про слинг: «Если в слинге, то я с вами не пойду», я так же выйду из равновесия, но снова выберу ее, и вот я вернулась и высказала ей – уж вернулась, так промолчала бы, – что надоели мне эти прогулки пенсионерские по одному и тому же маршруту, а через некоторое время она перестала выходить из дому, и заданные маршруты кончились, и я вспоминала, как в тот навсегда памятный теперь день, едва сдерживая перезрелый свой подростковый гнев, говорила ребенку: «Смотри, бабушка кормит уток», – и оправдываю себя хоть тем, что пыталась сдержаться, и горюю, что воспоминание, как бабушка кормит уток, подсинено печалью, как в мультике «Головоломка», но тоном куда исчерней.

Священник скажет: это по-детски. Коллега и подруга скажет: это зарубка на память. Хорошее забывается, зато плохое врезается, как в камень. Я смутно помню первую неделю после объявления диагноза – она была полна нежности и невиданной бережности друг к другу,

и как удачно, что муж уехал на рок-фестиваль и не мог разделить, убавив концентрацию, ни наше горе, ни наше единение. Надо ли говорить, что полгода мы не удержались на этой высоте и скоро опять зажили, как среднестатистические мать и дочь. Не помню даже, тогда ли мама впервые за жизнь сказала мне: «Ну что ж ты, детка» – когда я в суете и растерянности грохнула одну из баночек с только что купленным аптечным маслом. Я ждала справедливого попрека, а услышала только любовь. Не помню, да, зато отчетливо в памяти, что буквально за час-полтора до рокового известия, перевернувшего нас – да не перепахавшего, а будто подбросившего на месте и кинувшего, где были, какими были, только смятенными, смятыми судьбой, – так вот, незадолго до этого момента я опять сердилась на нее в мыслях своих. Я не хотела заходить в диагностический центр, да и не думала, что пустят с коляской, – она похлопотала о разрешении и позвала внутрь. И да, хорошо помню, что я, пролезая с коляской в приемную, думала о том, что вот опять все не так, как решила я, а надо было о том, что ей просто тяжело было выходить ко мне и она позаботилась о нас обеих. Но это я поняла куда позже, когда ее болезнь стала явной для меня не только в заключении диагноста.

Однажды она подначила и улыбнулась, а я надела забрало суровости, не разобрав, что она шутит по-доброму, а недавно подруга написала, что помнит ее деликатную улыбку, и я спросила себя, замечала ли раньше, что, да, она деликатна и беззащитна? Для меня это срыв шаблона – как ее вдруг девчоночьи прыжки по бетонным блокам в лопуховой глухомани района, – помню, как резко одернула вдруг, перепугавшись за нее, как может бояться за мать только малолетка.

Был когда-то совсем смешной случай: в телефоне квакнуло, и мама сказала, услышав: «Блям!» – но мне показалось, она опять говорит: прямо, мол, сядь прямо. Сохранилась детская открытка, в которой я обещаю ей чистить нос и есть морковь с творогом. Это был семейный стеб, но жаль теперь, что открытка не отразила других ее свойств, потому что бдительная забота не главное, почему я ценила мамино общество.

Читавшая Берта Хеллингера, я все равно мечтала воздать ей – упокоить почетно на диване, сделать приглашенной к чаю куклой в моем игрушечном домике, где я наконец азартно вожусь с румяным пупсом и высоким Кеном. И ее замечания, и попытку переустроить мой домик встречала в штыки – расстраивалась, что ей, против ожидания, неуютно. И только однажды, чувствуя, как подкатывает детское раздражение оттого, что ей опять виднее, что кому и как делать, вдруг вся перевстряхнулась внутренне и просветлела: это же к ней сейчас вернулись силы, это же ей лучше, вот она и принялась за обычное мамское, заботливое, доминантное. Она высказывала с дивана мне и зятю, она никогда не заискивала и никому не боялась говорить и теперь говорила храбро, надеясь, что я поняла: «Правильно я вас поругала, да? А то бы вы...» – ну вот да, именно, завели бы мопса.

Даже в хосписе она подскажет мне, как лучше поступить с единственной для питья соломинкой, и я признаю наконец: «Друг мой, скажу – мы так часто называли друг друга, – друг мой, ты страшно умен, – и добавлю: а я так глуп», имея в виду не соломинку эту, а всю нашу общую жизнь, обрывающуюся, как доска в океан.

После очередного примирения и моего безутешного раскаяния мама скажет: «Ты думала, я конь. А я давно уже не конь». Она открыла мне глаза, но я все равно вижу другое: маму на коне, как на одной из точных иллюстраций в книге малышей стихов Маши Рупасовой, где «мамин человечек» едет с мамой на красном коне.

Мама-рыцарь, мама-герой, мама может – и как же она не конь?

Она пришкандыбала в детскую поликлинику раньше меня с коляской – ребенок призахлебнулся, и она настояла, чтобы срочно его к дежурному врачу. Она подсунула загодя купленную в «Ашане» и сначала принципиально отвергнутую мною соску – я тогда тряслась за грудное вскармливание и читала, что подделка оригиналу конкурент, а мама смеялась: что же он, соску от груди не отличит? – подсунула в поликлинике, когда голосил, и спасла нас от

бегства, а ребенка от срыва и сказала: «Что, будешь мамочку слушать? Мамочка полезная?» Она так хорошо понимала малыша – говорила: «Что, ты кричал, а тебе ничего не дали?» – и поясняла, когда он впервые был замечен за хватанием и жеванием ноги: «Ножки мелькают, их так много – приходится ловить!» – и подсказывала: «Он сообщил тебе, что хочет на ручки». – «Как?!» – «Ну, забульбулькал!» – и выгораживала передо мной, потрясающей отяжеленным подгузником: «Ну что ты, он чист, как голубь!» – и умилялась: «О, щечку мнет улыбка», – и насмешничала, когда я сетовала, что он втянул мою грудь, как соломинку: «Он сделал из тебя соломинку – сделает и лапоть», – и велела приглушить свет, чтоб убаякать, и убаякивала, и тогда говорила с чувством выполненного долга: «Клиент готов».

Я так жадно стремилась доказать ей что-то, и сегодня сказанное ею мимоходом: «Мне нравится, как ты относишься к ребенку» – придает уверенности настолько, что понимаю: она теперь такой и останется для меня – последней инстанцией, где правда.

Мать невидимо говорит с каждым из нас, считают психологи: перемещается в осторожничающую, чуть что охающую и, когда страшно, прикрикивающую часть сознания. В своем внутреннем голосе, прислушавшись, можно легко различить ее заботливые побрякивания.

Мама не конь, конечно, а большая утка. Это мой психолог навела меня на этот образ, вдруг утоливший все мои терзания. «Понимаете, – сказала она, – вы как в сказке про гадкого утенка. Утенку этому гадко самому от себя – вот в чем дело. Ему кажется, он такой неловкий, длинный, неприглаженный, все портит. А маме-утке что – это же ее утенок, ну да, длинноватый, ну да, пригладить бы его, но он – ее и потому ей безусловно нравится».

И тут вдруг до меня что-то дошло про маму-утку. Я должна была понимать, что она слабеет, что она уходит, что не время топорщиться длиннее и унывать неприглаженно, но я до конца не могла себе представить, что она не утка. Не моя большая утка.

Мама для меня до конца была конем и большой уткой, вот в чем дело. Я до последнего была уверена в ее, как говорит Людмила Петрановская, доминантной заботе.

И пусть я в том возрасте, когда забота тяготит, а доминантность не привязывает, а отторгает, и пусть мы были смешны и печальны в наших тесных, из детства еще ролях – сейчас мне приятно вспомнить маму той, кому можно было дать отпор. Не послушаться ее твердой решимости. Или принять помощь и почувствовать, как вместе славно и скоро плывется в утином нашем пруду.

Мы твои, мама, да, мы твои утята и мопсы. Сидеть бы тебе с нами еще и сидеть.

9 февраля 2018

Потратить с толком

Благодаря телеграм-каналу Жанны Галиевой Pop/Art, выложившей ссылку на публикацию «Афиши» о лучших новых российских мультфильмах, посмотрела «Два трамвая» Светланы Адриановой. Мамонтенок-наоборот: там малыш хватается маму за хвостик, а здесь маму заботливо берут на прицеп. История про два трамвая – маму и сына – для меня вроде басни Толстого: про то, что сначала оберегают нас – потом оберегаем мы. Или заповеди семейных психологов: как заботиться, этому ребенку неоткуда научиться, кроме как от родителей, так что каждый к старости встретится с отражением своей давно забытой возни с вроде бы ничего не понимавшим и зла не помнившим грудничком.

Самый страшный и достоверный момент в фильме, где юный трамвай подпрыгивает на рельсах и отрастил усы, – это когда он возвращается в депо, как на родную кухню в однушке, и смотрит, смотрит по углам, и вертит фарами – шарит повсюду, где еще есть следы мамы, но нет ее, и он катится прочь, и звенит, и зовет, как звенела и звала его в детстве она, а вокруг те же пассажиры, та же дама с младенцем в окошке, те же птицы и дворник берется за свой повседневный труд – все как обычно, мир не дрогнул, рельсы не пошли волнами, и ураганом не смело все остановки на свете, а для него кончено.

Но еще страшнее, чем этот момент в мультике, который все же выходит на утешительный финал, – дежурная, сомневаюсь, что выстрадавшая рассудительным автором обзора мультфильмов, мораль: «Многие родители вполне обоснованно не находят нужным говорить с детьми о старости и смерти. Однако это вещи, которые рано или поздно потребуют объяснения. Чтобы не придавать подобной теме излишнего драматизма, можно показать им этот мультфильм. Учитывая, что все дети до определенного возраста эгоцентричны, осознание того, что в жизни все не вечно, поможет им постичь простую, но важную истину: нужно ценить то, что имеешь, и тех, кто рядом».

Ценить то, что имеешь. Самый главный упрек себе – что не ценил, ценил недостаточно, не понимал, упустил, недоотвечил, недоотдал, недосказал, недообнял.

Корила себя и я. А потом – после разговоров с подругами и психологом и особенно после вчерашнего, в ночи, мультика, включенного за спиной кормящегося сына и в обход собственного страха, что щас вот правда посмотрю – и толкнет: как нужно, нужно было ценить! – потом поняла.

Излишнего драматизма, конечно, не станем придавать, будем сразу растить из детей невротиков.

Невинная история двух трамваев – о здоровой заботе, о природном энергообмене, о циклической смене возрастов, о кругообороте силы и немощи, в котором сама жизнь.

Ценить – значит расти при маме и толкать ее трамвайным своим рожком в бок. Ценить – значит звенеть призывно и бросаться вытаскивать маленького трамвайчика из ямы. Ценить – это когда тебя тащат из ямы, куда ты упал, заигравшись, схватить заботливо свалившуюся вместе с тобой игрушку.

Ценить – это шалить и сбегать, ценить – это вымотаться и взгрустнуть.

Ценить – это быть рядом день за днем, как будется. Жить как живется.

И никогда не вкладывать, чтобы в старости получить дивиденды.

И никогда не слушаться, чтобы только потом не пожалеть.

Ценить – не дрожать. Ценить – не тревожиться. Ценить – не представлять, как потеряешь и заплачешь, потому что это и значит, что несовершен боящийся в любви.

Есть деньги – трать. Есть мама – отстаивай свою независимость. Есть сын – попроси его почитать, пока допишешь. Есть муж – напони, что обещал заехать в «Леруа».

Люби их в полную силу и верь, что они не сломаются.

Люби и верь, что они живы.
Цени, что живут.
И живи в ответ.
Потому что все люди, пока живут, эгоцентричны.
И плачут, когда теряют, о себе. О том, как же они – теперь.
И только когда решатся любить, зная, что потеряют, тогда-то ценят с сияющими дольше
жизни лицами, самоотверженно ценят любимых.

15 февраля 2018

Вместо встречи

А вот почему я верю в бессмертие души – потому же, почему верю вообще. Моя религиозная вера сильна, как вера знахарки в травы, но тем и слаба: я верю, потому что знаю, что это – работает. Знаю, что от Бога не укроешься, что после исповеди легче, что от Причастия свет пробивает на много дней вперед, как луч пробивает окно, пока сама не задернешь пыльным, не замылишь скользким, не укроешься в прежнее, темное, сырое. А души – души умерших снятся живыми.

К сороковому дню я загадала, хотя загад не бывает богат. Но дважды, с двумя другими ушедшими людьми, у меня – сработало, поэтому я верила, что и мама не подведет. Сорок дней после смерти надо читать молитвы – Псалтирь не пошла, и я выбрала акафист за единоумершего. В текстах молитв уже все сказано за нас и лучше нас, и я, как в первый раз, взволнована образами акафиста, особенно вот этим: «он(а) уснул(а) с надеждою, подобно Нилу-реке перед холодной зимой». Моя мама уснула, моя мама «села в лодку и уплыла», как писала Марта Кетро в коротком эссе о сне, пробивающем границы и защиты выросшей дочери воплем тоски и детского отчаяния с берега, откуда будто бы, не спросясь, себе на уме, со своим скрытым умыслом, мама уплывает в лодке к большому кораблю, чтобы уплыть на нем еще дальше.

Уснула, не более, или уехала, куда не дозвониться, – так я и чувствую это с самого начала, и даже неудобно стало от внезапного звонка подруги, отметившей, что у меня веселый голос. Горя нет, пока мама есть, а она у меня перестала быть в доступе, но не перестала быть. Так чувствую, да, пока кто-нибудь или что-нибудь со стороны не обначит факт отсутствия. Сосед мгlistым утром нагнал меня, увязшую с коляской в снегу, так что не уклониться от вопроса в лоб: «Что ж ты не сказала, что мамка умерла?» – не вильнув, ответила, что не хотела говорить. Неведение других – тоже форма бессмертия. Я думала, он обидится, я спешила на литургию, к автобусу, а он на работу, к машине, и над межевым сугробом мы расстались, и я покатила в слезах, оттого что он тронул меня своей большой рукой главы семейства, а я схватила эту руку обеими своими руками, когда он сказал: «Ты, это, не расстраивайся. Мамка у тебя была хорошая».

Кончается зеленый иранский чай, который она привезла из Средней Азии. Выбросила сыр фетаксу, который она просила купить, но не полюбила. Уходят рулоны бумаги по семь рублей, купленные ею для процедур.

Куплено первое платье без ее совета и непременно при ней примерки с цыганочкой и смехом. Расставлены крупы и макароны на полках так, как она требовала расставить при ней, но руки не доходили. Сделаны вылазки в гости, куда бы она не пустила по морозу да с малышом, а самим малышом – первые ползки.

А что за это время произошло с ней?

Акафист – способ достучаться в дверь без замка. На сороковой день или немного позже ко мне в снах приходили два человека, о которых читала молитвы. Совсем не старый еще коллега по работе и дядя, мамин брат, недотянувший до пенсии. Оба ушли, можно сказать, от разбитого сердца: от чувства, что жизнь их перестала любить.

Сон лечит – это еще одно мое верное знание. Во сне сокровенный ум нащупывает тропы спасения и утешения. Недаром так долго ко мне в снах приходили те, с кем наяву дело закончилось травматичным разрывом. Помню самый показательный терапевтический сериал – про мужчину, с которым я впервые пережила отвержение. В первой серии мы ехали в вагоне метро, спинами друг другу, и мне было мучительно от этого вывернутого наизнанку объятия. Во второй я ехала в автобусе мимо скучных высотных домов и знала: в одном из них живет он, и мне было спокойней от тройной заслонки окон, стен и расстояния, защищавших меня от источника душевной боли. В завершающей серии сезона мой герой возлежал и наконец пытался меня

обнять, а я посидела рядом, попрочувствовала его неубедительные попытки, а затем, вдруг подумав: «Зачем мне это?» – поднялась и ушла прочь. Проснувшись, я поняла, что излечилась.

Сон лечит, но тогда и люди во сне только фигуры терапии, проекции личной травмы. Как ни приятно мне было думать, что вот я во сне выговорила тому, кто давил, или обласкана тем, кто бросил, – мне хватало здравого смысла понять, что видимое исправление контакта случилось только на моем конце провода, а дальше все равно – обрыв, и току между нами не протечь.

Однажды в детстве, когда на очередное лето меня отправили к бабушке в Киргизию, мама пришла ко мне во сне, помню, такая немного не своя мама-дама, в большой шляпе. И обещала – по моей настоятельной, упертой просьбе, – обещала сниться каждую ночь. Этот урок я запомнила на всю жизнь: она обещала сниться каждую ночь – и не пришла уже на следующую. Не надо сходить с ума: моя мама не знает, что обещало мне мое грустное воображение. Сон сбывается, пока снится.

Но сны, о которых я думаю теперь уже сороковой день, другие. Они по пробуждении оставляют чувство, что контакт состоялся.

Умерший коллега по работе не приснился – явился мне на темной зимней улице, и путаное плутание сна привело нас в храм, куда он вошел с трепетной радостью и свечек прикупил; его святая радость запомнилась, как новое, никогда не бывалое при жизни. Мой дядя явился в гробу, как бы на собственном отпевании: мы с мамой читаем над ним «Отче наш», и он с тугой, через усилие, может быть, пробивающее незримую мембрану между «там» и «тут», дикцией вдруг подхватывает слова и молится вместе с нами. Потом мне снится, что я радостно спешу домой мимо десятилетиями знакомых перекрестков и магазинов, потому что знаю: дядя жив, он вернулся, у нас будет второй шанс зажить вместе – не ругаясь, не захлебываясь в печали, не кляня судьбу. Эта вторая часть – мой разговор с собой, это я себя лечу сослагательной мечтой. Но начало сна – нет, оно не про меня и не только для меня. Я верю, что это встреча, контакт.

В обоих случаях я просыпалась с уверенным знанием, что смерти нет, что оба ушедших живы и что сон означает: им там, по убогим молитвам нашим и бесконечной Божьей милости, наконец хорошо.

«Я посылала тебе флюиды, а ты не пришла» – одна из самых пронзительных фраз мамы, запомнившихся мне из нашего последнего, страдного полугодия. Взрослый же человек, и мобильную связь уже изобрели, да и спит за стенкой, рукой подать, но она лежит, тревожная от позывов болезни и мыслей, не спит и не смеет прийти, а вместо этого по-детски уповаает на силу желания: если как следует позвать, прилетит вдруг волшебник.

Мой акафист о ней – не флюиды, однако, а стук. Страшный глухой стук в стену, который услышала однажды к ночи, и лениво удивилась, и сонно осталась в постели, а это мама достучивалась через стену – звала уже не как ребенок, а как подросток, отчаявшийся ждать чудесного вертолета. По-взрослому вызванивать меня она научится в самые последние дни, когда мы обе почти перестанем спать, и я научусь взмывать по первой трели – не столько даже от страха за нее, сколько страха перед ней: я знала, что бываю ленивой и неловкой, и боялась нерасторопностью ее подвести.

Вот и в эти сорок дней, бывало, я ее подводила. Пропускала дни, потом дочитывала круг акафиста повторно, задним числом и не всерьез, тоже как-то по-детски фантазировала, что вдруг моя молитва о ней как вода в песке, как трава в камне, как свет в трюме: я прочитала, что с девятого по сороковой день душа томится в аду, и видела ад как пространный и необжитой каменный город, где маме уютно и тепло, только когда я ее поминаю.

И однако я с грехом пополам, то слезней, то рассеянной, на прогулке или над кашей для прикорма, в автобусе до рынка или дома у окна, обняв недовольно булькающего ребенка, молилась и надеялась на чудо сорокового дня. На сон-встречу.

Эти сорок дней она восполняет – исполняет обещание давнего, забытого лета: снится едва ли не каждую ночь.

Первые ночи я не вижу ее во сне, просто чувствую, это чувство очень легкого, лишнего веса и силы, до прозрачности спокойного присутствия. С этим невесомым присутствием я странствую по местам, наутро убеждающим меня, что побывала на подступах к иному миру.

Кукурузное поле до горизонта. Большая чадная кухня, куда нас смывает грязной пеной по шаткой лесенке. Институт наций – «там» открыли для нас такой, специально на одну нашу ночь, – с изящной и чистой посудной лавкой; в институте особенно ценно, что я в процессе учебы собиралась в экспедицию в Азербайджан, а моя мама по факту родилась в Баку.

Невесомое, неслышимое присутствие тоже для меня убедительнее любых явок: мама еще не родилась «туда», как бы недоразвоплотилась, ее не засекают радары ни этой, ни той жизни.

Я уже не говорю про застолья во сне – и банки с медом по антресолям, и покойного дядю, пришедшего, как я понимаю даже во сне, помянуть маму за тризной.

Был еще странный сон без нее, а с подругой и приятельницей, с которыми мы пересекали реку, заворачивали за гору и ныряли, торопясь, потому что за нами топала целая экскурсия, в горную пещеру – ход в иной мир. В том мире дышали водой, скользя по-над речкой, и на горной фабрике высились выработанные горки цветного, как карандаши, графита. Я искала синий и повторяла: «Кобальт, кобальт» – потом прочла в интернете, что у названия этого элемента мистические корни.

Впервые после ухода мама является мне молодой и кудрявой, в поезде, но я даже во сне понимаю, что это ненастоящее: еще не проснувшись, отчетливо осознаю, что она, такая, всего лишь мое воспоминание.

Ряд снов сигналият о фантомной боли. Мама смотрит на меня доверчиво и кругло, и я внушаю ей, что вот ей сейчас явно лучше, и пусть только попробует съесть что-нибудь опять не то, и ей правда лучше, и она послушно заверяет меня, что ни за что, она будет себя беречь.

Пару раз она приходит к нам в кровать, как при жизни приходила полежать, пока муж на работе. В одном сне нас прерывает звонок в дверь – я собираюсь пойти открыть, но мама говорит: «Я открою», и я во сне раздумываю спокойно, что это наверняка звонят соседи и как же они удивятся, ведь они думают, что мама умерла. В другом я просыпаюсь, губами реально договаривая возмущенное: «Мама, ну ты как Лёша прям!» – а это она во сне, как муж часто наяву, тревожила внука за ручки и ножки, и я сердилась, как можно его из баловства будить.

Были сны, запускавшие жизнь задним числом, – как тогда, с дядей. Мама словно опять жива и вот в декабре возвращается из поездки в свою любимую Италию, где побывала всего раз и, думали, будет шанс побывать еще. Возвращается и грустит: я, говорит, хотела, как Касатик ходил, в горы. Касатиком их бабушка звала маминого брата, моего дядю. Во сне она чувствует себя хорошо, но я знаю, что это декабрь, а значит, впереди финальный марафон января, и снова этот ужас с перекрытым дыханием и прочее, и умирание, и я в страхе, что теперь придется все равно пройти это во второй раз. В другом сне я обнимаю ее, опять круглую, как до болезни, и говорю: «Ты жива, тебе дали вторую жизнь», мы ссоримся, я луплю ее белым батоном и думаю, что опять ведь потом пожалею о ссорах, но думаю, несмотря на срыв, спокойно: радость сильнее страха.

Самая страшная мысль о тех, кто ушел: им безразлично наше, оставленное. Это главное, что меня никогда не устраивало и в идее переселения душ. Связь рвется, и ты, самый для нее главный и близкий, становишься тенью минувшего, фигурой прижизненной терапии, одним из условий поставленного над ней и, так или иначе, завершеного эксперимента.

Покойные снятся предупредить – в нашей семье в этом убеждались не раз. Но они являются предупредить – и ничего не предотвращают.

В детстве, давним летом в Киргизии, у меня был вещий сон, настоящий: кладбищенская гора (там хоронят в горах и на горе, потому что больше и негде: все, что не город и не кишлак,

обычно – горы), медведи с магазинными каталками и, главное, покойный дед – молодой, с волной в волосах, с яркими зелено-желтыми глазами, пьет со мной чай, как у нас бывало при его жизни, из стакана с подстаканником, с большим отрезом хлеба под сливочным маслом. Осенью того же года я едва не умерла: угодила в больницу с серьезным сбоем крови.

В минувшем году к маме в Киргизию явилась моя крестная – и ее тезка: вошла будто в комнату джалал-абадской квартиры и обратилась прямо, но не к маме, а к бабушке. «Чего, – сказала грозно, – не собираешься?» Время поджимало, и крестная торопила бабушку, но почему же в мамином сне? Являлся когда-то и брат, мой дядя, и мама спрашивала у него, тоже прямее некуда: «Ну как там у вас?» – брат отвечал уклончиво: «Увидишь». Уже зная о болезни, мама во сне пообещала своему отцу, моему покойному деду, собрать смертное – облачение в последний путь, – чем ужасно его рассмешила.

Накануне годовщины смерти своей бабушки – а моей пра-, мама ночью искала ключи от квартиры тоже давно покойной ее сестры и не нашла. Наутро сказала: «Еще поживу», – потому что вспомнила, как те же слова произнесла моя пра-, поведав, как она со своим, тогда уже покойным отцом, а моим прапрадедом, пошла во сне в лес да на полпути воротилась.

В акафисте есть фантастически обнадеживающие слова о «союзе любви между мертвыми и живыми» и просьба Богу во дни наших, живых еще бед принять ходатайство о нас – от наших ушедших.

Подруга сказала мне, что в лице моей мамы наша семья обрела своего рода ангела-хранителя.

Это было бы в мамином духе. Мама так усердно старалась хранить, так подробно пеклась, так браво бросалась на защиту, так горячо переживала – так болела нами. Опека – земная страсть, попытка скомковать в ладони и удержать сыплющийся сквозь пальцы прах.

Как-то раз другая моя подруга одной фразой вылечила меня от этой страсти. «А почему ты думаешь, – спросила она, – что она без тебя пропадет? Разве Бог о ней не позаботится?»

Предки являются предупредить, но ничего не предотвращают, потому что наши беды для них – всего лишь вехи на уготованном пути, который ведет так или иначе, но в одну сторону. У жизни просто нет другого направления пути. Предкам не страшно за нас, потому что они уже знают тайну.

Так, тоже одной фразой, утешила меня эта подруга: «Представь, мама твоя уже знает тайну».

И крестная моя знала, когда приходила маму предупредить. И не сказала попросту: «Встань, возьми постель твою и беги к врачу». Там, где знают тайну, не считают, что стоит сбегать от неизбежного.

Зачем сбегать – если маме в болезни приснился, и дважды, город золотой? А пока была здорова, снились только вторженцы, злые собаки и карабканье по скользкой горе.

Накануне тридцать девятого дня мне снится очередной сон с мамой. Которая выглядит как никогда неубедительно и которой я выговариваю, наутро понимая, что говорила с собой. «Я знаю, кто ты, – сказала я ей, – ты не привидение и не дух, нет, ты – образ».

Образ. Открытка из прошлого.

Я исцелилась от многих сожалений о последних моих с мамой минутах, днях, годах, когда поняла, что жалею о несложившемся образе. О картонной, глянцевой заслонке, на которой бы высветилось вспышкой и остановилось мгновение, вобравшее напоследок все самое лучшее, что было у нас и между нами.

Но самое лучшее рассыпано по жизни комками и пятнами, самое лучшее забывает принарядиться и встать красиво, самое лучшее быстрее всего расплывется, если пытаться его сжать в горсти.

И когда я в надежде на последний парадный фотоснимок памяти приглашу в гости двух оставшихся в живых из близких подруг мамы, мне покажется, что мы поминаем не ее, кого

все так хорошо знали, и горячо уважали, и любили смеясь, а ветхого Скруджа, чьи обноски перебирают чужие руки.

Не дождавшись, когда разговор за столом наконец вырулит на тропу почета, я попросила их рассказать о маме. Одна мамина подруга с незажившей обидой вспомнила, как я однажды испортила им с мамой песню, сказав, что ну сейчас опять орать будут под выпивку. Другая мамина подруга с приятностью вспомнила, как при помощи моей мамы сшила себе юбку для первого выезда за границу.

Открыток из прошлого не будет. Прошлое не при параде.

Днями, пока не решилась отдать, я поглаживала, проходя мимо вешалки, ее серебристое пальто-пуховик в болоньевых рюшах, и каждый раз чувствовала: нет, это не она. Пальто – это уже не она. В нашем ветхом мире ей нечего больше делать.

Так почему же я жду, что в снах явится ко мне мама, а не образ ее?

Я верю, что город золотой маме не снился – явился. Это был ее сон-встреча. Город, говорила, золотой, красивый, с куполами и так много стилей: будто и готика, и что-то русское, и он как живой – и будто макет, и золотой – но не резкий, а светлый.

У жизни просто нет другого направления пути. Лети к светлому городу, мама, не оглядывайся.

Бог о нас позаботится.

5 марта 2018

В какой руке

После многих репортажей и роликов о трагедии в Кемерове прочла стихотворение Дмитрия Данилова «Аргентина» и странно как-то утешилась. Не фантазией про Аргентину, а вот этим образом небесного собора, где решается, кому на этот раз стать случайной жертвой зла, которое ведь не только в проводке и халатности, но вообще встроено в мир, где мы не для счастья, а если даже счастливы, то горе наше в том, чтобы покинуть его вдруг такими счастливыми.

Бог, который до нас и после нас, от которого можно родиться в мир и умереть обратно, – почему это все-таки меня утешает? Я до сих пор часто тихо кричу на Него: «Зачем, ну какого хрена Ты это сделал?» – кричу из-за одной не слишком молодой и все-таки пожившей женщины, моей матери. А тут столько людей, обещавших расти и жить и, может, немного сдвинуть мир в сторону света. Отгоняю нелепую, как полет умершей души над Аргентиной, фантазию о том, что Богу понадобились хорошие няни для этих детей и он забрал несколько добрых бабушек к сроку, в том числе и маму мою.

Я всегда верила, что Бог от всего худшего убережет. И когда ушла мама, впервые почувствовала, что ли, другую руку Бога. Которой нам однажды будто заслоняют глаза, и мы хватаем спички, спицу, нож, билет в один конец, и ангел наш молчит вместе с животной интуицией, потому что пришел этот срок, решенный от века на небесном соборе.

Меня не радует это, но странно утешает: в другой руке Бога я чувствую другую заботу. Давно замечено, что раньше всего забирают лучших. Он забирает лучших – в лучший мир. Потому что в мире с плохой проводкой и халатными блюстителями им нечего делать.

А халатные, жадные, малодушные, лукавые люди остаются жить, и это только кажется несправедливым. Потому что по странной для нас, небесной логике это им, взрослым и заскоружлым, и нам, растерянным и маловерным, еще расти и расти – и, может, немного сдвинуться к свету до того, как к нему принудительно заберут.

Небо сильнее мира, потому что небо вечно.

Небо нас переживет и примет.

В горе я думаю о том, какое вообще невозможное чудо – моменты счастья в этом мире, для счастья не приспособленном.

В одном репортаже прочла характерное замечание репортера: мужчина, потерявший на пожаре жену, сестру и детей, говорит о них в настоящем времени.

Настоящее время счастья никогда не длится вечно.

Но как счастливы люди, которым на годы позволяют об этом забыть.

27 марта 2018

Как попасть в чудесный сад

Фейсбук не напомним, потому что год назад некогда было выложить, да и мама считала, что это не повод светиться, хотя шло еще время, когда дни как вспышки, и тело припоминает чувство, будто по нему прокатилась лавовая волна, и я горячая, как гора, родившая мокрую мышь, и меня внутренне шатает от затихающей памяти о сотрясении, и хочется еще вспыхивать недрами и светиться нутром наружу, и вываливать из себя любую рядовую подробность дня с новорожденным, тем более если это праздник Преображения, на который выпало младенца Сампсона, как записали в свидетельстве от храма, окрестить.

Креститься пускают начиная с сорокового дня после родов, и я побежала, едва дождавшись срока, хотя мама недоумевала: куда тороплюсь? Вот подрастет, успеется, и неужели придется такого маленького окунать с головой? Жизнь ее увязала в чем-то тоже тяжелом, густом, накапывающем неотвратимо, как лава, только очень холодном, и ей казалось, что для праздника не пора. Время и сроки – вспоминая сейчас всю эту историю поворота нашего семейного солнца с лета на зиму, я особенно остро ощущаю засевший с самого начала вопрос о том, когда же пора. Говорят, дети никогда не рождаются вовремя: сколько ни планируй, все равно застанут врасплох и сломают заведенный ход жизни. Человеку вроде меня, которому порой сложно сделать самый пустячный выбор: пойти ли сперва на рынок или поспим и поубираем, а может, забить на все и в парк на весь день, – было бы трудно определить самый подходящий момент для зачатия, и, хотя я предприняла попытки повлиять на решение своей и ребенка судьбы, все же у меня осталось чувство, что прорывы в этой игре совершались с чужой, невидимой подачи, словно кто-то другой, в отличие от меня, знал, что время поджимает, и речь не о том, чтобы выбрать самый подходящий момент, потому что выбирать не из чего: этот момент – последний.

Так вышло с датой крещения: суббота Преображения оказалась последней крестильной субботой в расписании батюшки, которому я внутренне адресовалась как духовному отцу, – и, в силу доставучей плотской мечтательности, отцу и вполне земному, представимому на малогабаритной нашей кухне, в малогабаритной нашей семье, с его небольшим ростом, будто израспевшимся в невидимую энергетическую вертикаль, с его тугими, основательными жестами, заземляющими цветочную легкость молитвенных поклонов, и полевой сладостью здравого смысла, от которой веяло светом и свежестью в душной моей голове. «Бог тебя услышал, ты родила? – сказал он мне в ответ на мои судорожные припоминания упущенных выше грехов. – Родила, замуж вышла? Все, нормальная баба», – и отпустил будто не грехи, а женскую мою уязвленность, которой промучилась с детства до тридцати. Тем августом отец Евгений собирался надолго уезжать и велел, если он нам нужен, явиться в ближайшую субботу и за оставшиеся дни недели позарез найти крестного, потому что на него уже навешали крестников, как замочков на мост, а столько и по именам не запомнить, а также посоветовал захватить с собой минимум шесть пеленок, – все это он говорит на бегу прочь из храма и в дверях, оборачиваясь, повторяет: «Минимум!»

Отец Евгений готовится уезжать, а мама готовится лечь в больницу на профилактическую операцию, которую можно считать подготовкой к лечению, которое никак не начнется, потому что вот только еще все анализы для госпитализации собрали, слава «Инвитро», а то бы до осени воз и ныне там. И эта крестильная суббота для мамы – тоже своего рода последняя, когда она еще может формально ощущать себя не вляпавшейся в лечение, не ввязавшей свой организм в вынужденные метаморфозы. Она еще нормальная, как все, и даже немного прикинутая, так что отец Евгений, когда мама вступает в крестильный ход со свечами, делает ей смягченное иронией замечание: «Вот какие бабушки у нас пошли, модные, в храм пришли в джинсах», и она отвечает, как человек, поймавший повод хоть полслова сказать об удерживаемой в сердце и не умещающейся в голове беде: «Я болею» – и в этих джинсах доживает последнее свое

лето, и, как назло, впервые за долгие годы выглядит постройневшей и оттого элегантно, но на предложение надеть наконец, к примеру, годами откладываемый бежевый костюм с юбкой раздраженно отмахивается: теперь ей особенно не до того, чтобы нарядиться.

Отец Евгений объявляет, что крестит по древнему обычаю, с полным погружением в воду, и просит мам не переживать, будто батюшка их младенца топит. Мама с досадой шепчет мне, что вот напрасно я бегала за отцом Евгением, хуже и представить нельзя для ребенка, чем это полное погружение, и я не первый раз чувствую, как в вопросах, выходящих за пределы пожрать и поржать в тонкие, невкусимые сферы, мы с ней по-разному переживаем тяготение земным. Полное погружение – вот для чего я бегала за отцом Евгением, по себе зная, что уж он не делает скидок, и в ответ на признание о наконец закрутившемся романе: «Вы, наверное, меня не допустите к Причастию?» – скажет без колебаний: «А сама как думаешь?» – оставляя меня не перед захлопнутыми воротами церковных уложений, а наедине с собственной совестью, и, отказав, не отталкивая, а даже вдруг притягивая этой строгой и сухой, отеческой заботой, когда боишься не его, а себя в его глазах, маленьких, будто прицельно прищуренных, перед которыми не бывает страшно – только почему-то заранее стыдно, так что любишь ты его, конечно, и ждешь больше других священников в районном приходе, но всегда чувствуешь охлаждающее стыд облегчение, если исповедовать вышел другой. Полное погружение грядет в храме постарее и потеснее, с деревянными полами и хорошей слышимостью, потому что звуку просто некуда больше деться, как и моей свекрови, упавшей в обморок от духоты и вышедшей погулять да так и прогулявшей и обряд, и застолье в кафе, как персонаж, просидевший за сценой акт без своих реплик: наша крестильная суббота была не про нее, потому что у нее еще было время, а мы разыгрывали наш последний шанс. Полное погружение окунало с головой в катакомбную скученность заговорщиков против Рима Третьего с Третьим транспортным кольцом, и дальше, в инициационную купель, словно мы все проглочены деревянным китом и, кроме сбежавшей из-под власти обряда свекрови, не переживем прежними нашей прощальной крестильной субботы.

Отец Евгений досадует не меньше моей мамы, одергивая женщину с верещащим младенцем: «Вы мать? Почему не можете успокоить ребенка?» И велит запереть двери храма от опоздавших гостей. По кругу матерей прокатываются суета и чинность, а я в горячке гордости, когда именно мой ребенок наконец молчит и я ловлю обрывки сложной на слух молитвы, читаемой в начале обряда специально для рожениц, освящаемых после сорокадневного отдаления от храма, – или стыда, когда именно мой ребенок один вопит и я сама отлучаю себя от круга отмаливаемых матерей. На помощь волшебным образом являются помощники: наш крестный, молодой режиссер Федор Ермошин, сияющий на фото почище новоиспеченного отца и обучивший меня искусному укачиванию младенца – разом в противонаправленных плоскостях, и поэт Елена Лапшина, с утра отстоявшая праздничную службу в храме на другом конце Москвы с юной племянницей и с ней же добравшейся до нашей южной окраины, и опоздавшей, конечно, и все же пролезшей в двери за миг до того, как их по слову батюшки бросились запираеть, и нашедшей для меня маму, которую я потеряла из вида и горевала, что она покинула действие вслед за свекровью, из солидарности с ней или протеста против архаичного батюшки, и тем самым стерла этот памятный день из семейного календаря, ведь в ту субботу я крестила сына ради нее, но мама присела, устав, на узкой деревянной скамье в углу храма и вернулась, когда началось главное и, отвопив свое, младенцы попадали в руки батюшки, со знанием дела зажимавшие им ротик и носик перед полным погружением, от которого крещаемый Сампсон и не пикнул, хотя крестный Феодор потом засвидетельствовал, что чихнул.

И Господи, прости, как у меня хватало сил тогда гордиться – и за гордой радостью не замечать то, что очевидно мне теперь: как жалки мы в высшей точке покоя на перевале перемен, – и сыном, проявившим такую завидную выдержку, и крестным, мало того что интеллектуалом с горячим воображением, так еще и сам снимает кино, да и просто добрый человек, как

говорит о нем Лапшина, и мужем, в одиночку перенесшим на руках крошку сына через дорогу, словно через Иордан, и Леной, которая достояла с нами, считай, вторую службу, и мамой, которая так слаба и унывает, что отказывалась идти, и вообще была против этой спешной затеи, но вот пришла, и добыла до конца, и дошла с нами в недавно открытое первое приличное районное кафе, где она еще посидит со мной и Леной в сентябре, когда у обеих дни рождения подряд: будет еще будто прежняя, здоровая, хлопотливая, проходить мимо, в руках деликатесы с рынка, и увидит нас через стеклянные двери, и, как часто в жизни, застеняется постучаться, и замнется у дверей, и все же позвонит мне, и с удовольствием, которое больше не повторится для нее никогда, как никогда не случится больше для нее этого приятного, ввиду безмятежной потребительской суеты, ланча в городском кафе, – с удовольствием, о котором еще будут силы приятно вспоминать, когда кончится время заглядывать в кафе, ходить на рынки и вообще выходить из дома, – скушала креветок на гриле, таких нежных, что все порывалась эту последнюю в своей жизни порцию нам с Леной уступить.

Что, если бы тогда, в этот последний день, когда судьба подыгрывала маминой страсти к красивой, радостной и вкусной жизни, которую мама на моих глазах никогда не вела, что, если бы она переступила в себе, как через многое личное и желанное ранее, этот импульс зайти и присоединиться к нам, что, если бы упустила этот последний шанс побыть в потоке обыкновенной жизни без последних сроков, отложила бы, как многие наши последние и так и не состоявшиеся разговоры, на потом? Когда я хожу, как мама в тот день, с покупками мимо нашего Buddy bar, я вздрагиваю, как над открыточными видами Италии, куда мама в свое время заглянула так же, как в кафе: вдруг и стесняясь, словно не чувствуя себя вправе зайти, – в год, когда понемногу угасал ее брат и я едва уговорила ее все-таки не откладывать многолетнюю мечту на потом.

Когда пишут, что нет никакого потом, это ведь не значит, что потом не будет Италии, кафе, крещения и не пикнувшего в купели новорожденного. Все это будет, и, может быть, не по разу, но только не будет тебя, такого, которому захочется к ним заглянуть. Обидней всего наткнуться на маленькую приоткрытую дверку в чудесный сад, когда ты такая большая Алиса, что и головы туда не протолкнешь. Но глупо и подбегать то и дело к этой двери, когда она заперта, а ты слишком мала, чтобы дотянуться до ключа от нее. Таких подходов к дверке можно сделать, как отжиманий, три цикла по десять, и не дожидаться единственного момента, когда дверь в сад распахнута и ты – Алиса, которая верит и потому вмещается в эту сказку.

Вот почему лениво созревающий август два года назад, когда я подыскивала ключ к три десятилетия запертой от меня двери, а точнее, к молчаливому, сдержанному, будто все время на замке, молодому человеку, которому собиралась предложить перейти к прямому возделыванию сада, памятуя из какой-то популярной памятки, что мужчина предлагает руку и сердце, зато женщина предлагает детей, – это время, когда я то и дело откладывала решающий разговор на потом, цепляясь взглядом, как за повод, за любую проезжающую коляску, и тут же в любой слишком близко подсевшей к нам парочке находя повод увильнуть, этот август мне вспоминается теперь с грозным призывом стрелок, подбирающихся к душераздирающей метке выставленного не мною наперед будильника. Предложение руки и сердца я успею получить в самый последний момент – на краю второго триместра беременности, – и в такой своеобразной форме, что я еще подумаю, как можно о таком рассказать собственному ребенку и не завалить ему вход в сказку любви камнями иронии и абсурда. Куда больше волнует меня мой путанный, оттянутый и растянутый спич, будто вывернутый правильными словами наизнанку, так что вместо того, что должно быть сказано, – петли пауз, а речь торчит оборванными нитками, и возникает не провязываемая логикой связь между сказанными подряд: «Почему бы нам не зачать кого-нибудь?» – и: «Мы так редко видимся». Я сижу на скамейке в парке, скрестив ноги по-турецки под воздушной юбкой, предполагающей разве что изящную встречу щиколоток в поставленных рядком нарядных туфельках, и боюсь взглянуть

на мужчину, перед которым только что страшно себя уронила. «Быстрее! – сказала. – Зайдем эту скамейку, а то вон женщина с коляской сядет», и он одернул меня, доказав этим, что готов оберегать и ставить выше своих интересы женщины с ребенком, и не подозревая еще, ради чего я так спешу уединиться с ним на отдельной скамье. Но, кажется, это он теперь чувствует себя неловко, и я никогда не забуду самое смешное выражение его рта, скривившегося на сторону в показном смущении, словно он давно и сам ждал этого вопроса от меня и зажимается теперь только для вида, когда на мое бестолково связанное предложение «зачать кого-нибудь» он ответил ничуть не более по делу: «Кого, например?»

Потом, в больнице на сохранении, я буду вспоминать и этот день, и все другие наши недомолвки и размолвки, в паузах между которыми провязывалось наше всегда молчаливое, от сходного у обоих чувства, что не вправе заговорить и зайти, взаимопонимание. Вспомню в самую унылую бессонную ночь и вдруг вся погорячю и вспыхну августовским светом убеждения, что все у нас было правильно и в свой срок.

Потом же, получив подтверждение о гранте на месяц писательского ретрита в Шотландии, я приду в отчаяние оттого, что не подождала с решающими разговорами до этого известия, и теперь вынуждена рисковать или беременностью, или редкой и ценной поездкой.

Потом, когда – и снова в последний возможный для путешествия беременной месяц – я перелечу с пересадкой во Франкфурте все свои тревоги – до сих пор смешит и трогает мамин совет: «обними его перед взлетом, чтобы он не боялся», которому я с охотой последовала и, обняв себя за уже постукивающий изнутри живот, обнаружу, что это лучший способ немедленно успокоить и убаюкать до сладкого беспомыслия саму себя, – потом я с остервенением человека, знающего, что из открывающегося для него чудесного сада назад двери не будет, страшно запарюсь о не слишком удачной сочетаемости нас с ребенком по зодиакальному и особенно восточному гороскопам и удивлюсь, как плотно Бог закрыл мне глаза на тот факт, что зачинать «кого, например» стоило, конечно, годом позже, в царство моей Собаки, и боже мой, вот о чем точно стыдно рассказывать отцу Евгению, который сумел в свое время спасти меня от куда более серьезного и опасного душевного беспокойства.

А потом меня накрывает холодным, липким страхом от мысли, что я могла в самом деле отложить решающий разговор на год, который моя мама, если следовать восточному отсчету календаря, уже не застала. Как не застала бы и того, кто стал в переворотный, по прогнозам, год Петуха нашим главным утешением и единственной радостью.

Бог закрыл мне глаза и повел за руку через низкие двери, узкие мосты, колючие розы. Во всем, что касается моего входа в чудесный сад, я чувствую ведущую руку Бога, на которой часы указывают для всего самое правильное время.

И поэтому не удивляюсь, как нельзя удивиться тому, что только и должно было произойти, мистической разметке сроков на пути моего сына ко мне. Я знаю, что он пришел вовремя, потому что убедилась: время его рождения выбирала не я. Не по моему хотению я впервые почувствовала, как он толкнулся ровно за семь месяцев до его крещения, в праздник Крещения – я ехала в метро на торжество в честь сайта Годлитературы в редакции «Российской газеты», в нарядном белом пуховике, в котором вдруг для меня не стало места: я рванула одну застежку, другую и почувствовала, будто изнутри тихо плеснула в меня прозрачным и легким плавником не крупная рыбка. И не по моему плану день рождения сына совпал с ничем не обоснованными ожиданиями моей мамы, которой вдруг пришло в голову, как символично пятое число июля и которой судьба будто решила сделать прощальный подарок, пойдя навстречу ее не самой главной прихоти. И не по своей воле я, через месяц после ухода мамы, в ночь накануне Великого поста, в первую неделю которого не могу удержаться не то что от мяса – от тортов, текущих, как в присказке, медом и кремом будто мимо моего рта, которым я пробовала утолить другую жажду, – вижу сон про Самсона, тогда еще даже не получившего свой первый мясной прикорм, как он заявляет, что с этого дня он не будет есть мяса, – неужели

напоминает о подступающем священном сроке воздержания? И разве могла я предугадать, что имя уже безымянно записанному в медицинскую карту ребенку мы наконец выберем именно на восьмой день, когда, как я прочту в памятке о крещении, читается молитва о наречении имени? Или что именины Самсона, в полном согласии с правилами, следуют через пять дней после его дня рождения, – 10 июля, в день памяти святого целителя Самсона Странноприимца, про которого я считаю, что это в его честь мы назвали сына, потому что предание о нем мне кажется куда счастливей мифа о библейском богатыре?

На перевале от лета к зиме, от радости к горю, от крещения к полному преобразению всей жизни судьбоносным знаком кажется все что угодно: даже коричневая полевая крыса, вломившаяся к нам в номер в пансионате под Звенигородом в первое же утро форума молодых писателей, протопавшая по руке страшно, как от страшного сна, закричавшей Лены Лапшиной и ставшая для меня символом ворвавшейся и благословляющей природы, потому что именно в этот день я не вытерплю и сделаю наконец прихваченный с собой тест на беременность, оказавшийся положительным.

Убедившись, что Самсон родился точно вовремя, могу ли я убедить себя, что так же вовремя, ни раньше ни позже, моя мама ушла? Или я верю только той руке Бога, которая ведет меня в чудесный садик, куда я давно мечтала попасть, и вырываюсь, стоит мне понять, что раскрывающаяся передо мной дверь ведет в неведомое и страшное?

Пора – это не значит, что к лучшему. Подходящий момент – не значит самый счастливый.

Этот день крещения в последнюю доступную субботу младенца, родившегося в последний дожитый моей мамой год, показал мне, что вовремя – и значит во благо.

Но что благо вмещает куда больше, чем просто счастье, каким бы огромным ни казалось мне мое счастье в маленьком чудесном саду.

По указанному в свидетельстве о крещении полному имени я найду в интернете страничку и фото отца Евгения и рассмотрю внимательно всех его одиннадцать детей. На исповеди в Родительскую субботу мне покажется, что священническая досада в нем пересиливает отеческую любовь, когда он, помолчав в ответ на спешно прочитанный мной по вкривь и вкруг дописанным листочкам перечень грехов, сразит меня, как мастер дзен, указанием на грех незамеченный и совершаемый прямо сейчас, перед его глазами. «Вы думаете, это нормально? В этом так мало веры», – скажет он, указывая на мои перечни, смятые и отложенные прямо на Евангелие. Я почувствовала, будто оскорбила любящего отца, и, как всякий уличенный ребенок, надулась и долго не могла успокоиться. Неужели можно преступать что угодно, кроме того, что важно лично ему, и все мои грехи на бумажках – ничто перед весом их самих, брошенных будто ему в лицо?

Не по моему хотению, но с той поры отца Евгения на службах я больше не видела. Его место занял отец Михаил, еще больше отеческий, добрый – и тем-то отчетливо не отец. Как ангела, который сам не творит, а только исполняет вышнюю волю, отца Михаила, кажется, нельзя ни задеть, ни огорчить, и, сколько бы я ни зачитала ему грехов, он найдет, что похвалить: например, мой добросовестный задел на духовную работу и сознательное отношение к своим проступкам.

Теперь на службе я надеюсь увидеть отца Михаила и чувствую, как, еще только выходя исповедовать, он изгоняет страх.

Я люблю его, как благословляющую руку. Но тот, кто благословил, отпускает с миром.

Ко дню крещения Самсона меня привела цепочка благословений, думала я. Но теперь чувствую: вела рука другая, взявшаяся за меня твердо и не отпускающая, чтобы не оступилась и мимо не прошла.

19 августа 2018

«Чуда не случилось»

Сегодня около полудня не стало Владимира Данихнова, молодого писателя, отца двух несовершеннолетних детей – младшая в этом году пошла в первый класс, а старший, насколько знаю, уже сам программирует, – фантаста с цепким реалистическим знанием людей, финалиста «Русского Букера» и «Дебюта», автора таких книг, как «Чужое», «Девочка и мертвецы», «Колыбельная», «Тварь размером с колесо обозрения», прозы, которую можно назвать сновидческими триллерами, или изнаночными притчами, или призрачным бытописанием, прозы о том, как сквозь тяготу дней прорывается сияющий ужас небытия и как бороться с этой брешью в мире, в своем чувстве жизни, в художественной ткани, в судьбе. Его жена Яна сражалась за его жизнь до конца, и два сражения они у судьбы выиграли. Он жил и работал в Ростове-на-Дону, а ушел в Петербурге, где проходил сложное современное лечение, при помощи многих друзей и коллег и сторонних людей, включившихся в борьбу на стороне жизни. Потому что последний враг, смерть, объединяет против себя всех, кто дышит и чувствует. Последние его дни были так тяжелы и столько вместили страдания, что, если честно, все, что приходит в голову теперь, это – что человек отмучился. Я помню в себе это чувство света и тишины, когда окончен мамин путь страданий. Светом прямо накрывает, укутывает, и наступает чувство, как на праздник Покрова Богородицы. Что, если возможен беспробойный щит против боли, ужаса и смерти, то вот этот щит сейчас отгородил человека навсегда. Что ушедший теперь неуязвим. Больше ничего плохого с ним не случится.

Сегодня, так совпало, еще и день рождения моей мамы, которая прожила в два раза дольше Владимира. Но пострадала от той же «твари» – спасибо ему за это слово, которое пугает в его документальном романе, но в жизни позволяет переименовать реальный страх во что-то такое фантастическое, немного будто рисованное, как на брошенных детских рисунках и в детских кошмарах, какие он описывает столь мастерски. Утром мы были с сыном в церкви и время от времени выпадали из службы в кусочек романа Данихнова: на детскую площадку у храма с поломанными, залитыми дождевой водой, заброшенными машинками, ведерками, формочками.

Тлен вещей, истекающий срок службы, время на доньшке – от всего этого есть один только щит, но он прикрывает навсегда. Он не покидает, да, – прибирает. Зовет и призывает.

Яна просила не писать ничего с тэгом «Данихнов» и не оставлять заметок на его странице. То, что я скажу, я говорю не ей. А себе и нам, кто пока не прикрыт и рыпается, чувствует и дышит.

Я думаю о том, как расходится наше благочинное верование с сияющим ужасом веры. Вот есть такой парень: не пьет, дети, любовь, крепкий брак, самореализация, творческие поиски, ипотека, мужские бродилки, игры, размышления, политическая позиция. Если бы все это имело ценность в глазах Господа такую, какую мы приписываем. Если бы Богу нужны были от нас эти крепкие браки, эти уютно устроенные дома, эти развитые дети, эти любимые жены и мужья, эти творческие метания и упоения, эта жизнь тишком изо дня в день, эта радость и грусть. Если бы он придавал значение скрепам, буквально, скрепляющим нас. Если бы он соединял здесь, на земле, чтобы здесь, на земле, и строить. Если бы он сотворил нас для этого мира.

Но вот эта история – она же про другое. Как и много, бесчисленно много подобных историй. Не тварь из кошмаров – так твари на танках, тварь рулетка, тварь винтовка, тварь воровка, тварь судьба. До сих пор помню – и не помню, откуда именно, – заключительные слова одного из персонажей Шекспира о том, что влюбленным в мире не суждено быть счастливыми вместе. Потому что, даже если между ними все уладится, «война, болезнь иль смерть» всегда грозят любви.

Это не про влюбленных, это про влюбленных в жизнь, привязанных к миру, в котором даже если как в раю – все равно готовься к изгнанию.

Сообщая о рецидиве болезни своего мужа писателя Гарроса, Анна Старобинец написала фразу, очень простую, но помню ее, будто афоризм: «чуда не случилось». Каюсь, эта мысль приходит мне в голову теперь каждый раз, когда сталкиваюсь с плохими новостями. Чуда не случилось – это конвертик живым, остающимся, напоминалка о том, как устроена жизнь. Чуда не случилось – значит, ты не ошибся, да, не только твой близкий, но и близкие других людей, и близкие близких, и дальние – все видят то же, что и ты. Вы все в одной картинке мира, катящегося от начала к концу, и не наоборот.

Это о всемогуществе, скажет мне психолог, когда я признаюсь ей в этих темных мыслях, в ревнивом отслеживании чуда, которое не случилось. Вы поняли, что и они не всемогущи. Всемогущество, скажет, детское чувство. И вы даже говорите об этом детским голосом.

Яна писала о том, что все верили, будто она может его спасти. Действительно ли это так? Действительно ли верили, возлагали надежду, а значит, непосильный груз всемогущества? Про спасение в высшем смысле – спасение души – говорится, что человеку это невозможно, но возможно Богу.

Раз от разу я думаю, почему нам позволена передышка. Почему дважды Владимира спасли, отбили, а на третий вдруг резко, в считанные дни, до которых он еще писал в Фейсбуке с планами на лечение и просьбой поддержать еще деньгами, – вдруг отобрали надежду. Почему дали написать книги, родить детей, полюбить прекрасную, добрую, отважную женщину, вырасти, родиться?

Яна в порыве отчаяния написала, что все было зря, они потратили жизнь на ерунду. А для меня, как и многих других, это все невозможное чудо.

Мы не всемогущи, но Бог дает нам возможность почувствовать энергию творения, спасения, победы, силы, свободы, потому что иначе здесь, на земле, нам не дано было бы Ему причаститься.

Это наша здесь Тайная вечеря, единение перед сокрушительной разлукой, прообраз вечного пира, куда нет пути другого, чем через яму и гору, хлябь и крест.

Я не хочу об этом думать. Я хочу, чтобы Бог заповедал мне счастье, и долголетие, и крепкий брак, и многочадие, и плоды вдохновения.

Но Он ни слова об этом не говорит и не ставит передо мной никаких целей здесь, на земле, никаких целей, только путь, про который Он говорит, что Он и есть этот путь.

Когда всё путём, кажется, что ты на верном пути, а это только полоса разгона.

Он хочет, чтоб мы шли. И это все, что надо знать о здешнем счастье.

Чуда не случилось, случилась жизнь. В свете общей судьбы вещей, о которой так царапко и едко писал Владимир, это, конечно, немало. Чуда не дано, но остались отблески жизни. Любовь, дети, книги.

В своем документальном романе Владимир Данихнов написал про манящий и страшный стук будущего. Теперь мне кажется, он вот об этом. О том, что человек не может не бояться неизбежно уготованного ему будущего – и не может не идти к нему.

Детским голосом я говорю себе, что Владимир и Яна не были всемогущи. Они не совершили чуда.

Они просто шли. И жили разом в настоящем, где у них было все, что мы ценим и чего годами добиваемся в жизни, – и в будущем, которое проливает сияющий свет на то, что на самом деле ценно.

Если случается на земле чудо, то оно в том, как люди любят, и пишут, и рожают, и думают, и спорят, несмотря на будущее всех вещей.

И бывают счастливы, как навсегда, как будто уже под щитом, как будто дошли и впущены на брачный пир.

Владимир писал о людях, съеденных страхом, – теперь я вижу это отчетливо. О тех, кто боялся впустить счастье. О тех, кто зажал в себе жизнь, замуровался и думал, что пересидит.

Его романы не учат, как быть счастливым. Но показывают, как смешно быть несчастным.

Потому что, уж если зажил – жизнь не зажимай. Если встал – иди. Если не можешь совершить чудо – рожай, пиши, люби, думай.

Он об этом для меня, он и его Яна.

О том, как много может невсемогущий.

17 сентября 2018

Утро утраты

В благодарственном акафисте «Слава Богу за все» есть слова, которые вдруг зацепили меня, как вообще теперь цепляет, удерживает, словно схватывает за колени и, снизу заглядывая в глаза, просит внимания все, что связано с образом ребенка. «Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты благ и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова и ныне зову», – прочитала я будто другими глазами и, не успев одернуть себя, подумала, что это ведь теория привязанности в действии.

Недаром пишут, что над неопитами часто разливается благодать, дармовая, как радуга над родным двором с мокрыми после дождя качелями. Человек впервые тянется к Богу чуйкой выживания: там – тепло, там – свет, там – ждут и примут. Мою маму страшно раздражали героические песни про маму, у нее были свои на это причины, но я теперь по-новому поняла, чем они смешат и смущают: любовь к маме переслащена святостью, слишком одухотворена, а чувство это животное, простое. Постепенно человек учится отличать и призывать ту, которая с загадочным поначалу постоянством является, чтоб взять на себя всеобъемлющие его, не перевесившего пока самый мелкий арбуз, тревогу и боль. «Призывать» – этому слову научил меня муж, и оно вполне выражает тягу ребенка к матери: в компьютерных играх, сказал, так говорят про телепортируемых по требованию магических персонажей. Человек впервые призывает мать, когда плохо, чтобы стало хорошо. И это вполне выражает его отношения с Богом.

Зимним утром этого года, когда я через силу вывалюсь с ребенком гулять и впервые после ухода мамы почувствую привкус мира и тепла в белом колючем воздухе, я вышлю Господу свою искреннюю благодарность. Скажу: «Слава Тебе», порадуюсь миг, и миг еще полюбуюсь своей смиренной радостью, и вдруг взорвусь отчаянными ругательствами: обнаружу, как только что, в двух шагах от дома от меня с концами ушел нестарый еще телефон с кучей несохраненных фоток, хорошо, что хоть заметки муж накануне успел поставить на синхронизацию.

Я оплакиваю телефон истощней, чем родную мать, кому я еще при жизни, на кремьком с розовеньким диванчике, который был куплен для нее и вдруг осел с ней на дно, как корабль, и оброс, как ракушками, пачками обезболивающих, разжижающих кровь и травящих новообразования, кому я возразила, что ни за что не надену черное, когда она пыталась отложить кусок немаркого гипюрчика на свои провода. Я оплакиваю телефон, потому что он утрачен с концами и факт его отсутствия особенно заметен на светлом пустом снегу вокруг дома, где, кажется, в этот солнечный день иголки не утаишь, не то что смартфон-лопату в черной обложке. Тогда как с утрадой другой, поглавнее, все не так ясно.

Зачем черный гипюр, если человек ушел туда, куда шел? В день ее смерти меня накрывает светлым чувством удовлетворения и покоя: она добралась. В благодарственном акафисте «Слава Богу за все» главный мотив – представление мира земного как всего лишь предчувствия, слабой проекции, преддверия мира небесного. Акафист прославлял бы здешний мир с почти языческим упоением, если бы не давал понять, что видимый свет – только отблеск. Чувственная метафора высшей радости. Погремушечки в колыбели тому, кто еще только готовится начать учиться собирать настоящие сокровища.

Но зачем тогда они – эти «благоухающий воздух», и «золото лучей», и «сладкие плоды и душистый мед», и «небо Твое, сияющее звездами», и «высота музыкальных красот», и, прости Господи, «огненные языки вдохновения», которые, как ни прочту эти слова, обдают меня жаром не благодарности, а самоупоения?

«Мне все испортили», – убито сказала мама, подводя итог отблескам своей жизни.

Говорят, что, когда уходят родители, наконец взрослеешь. Моей маме не выпал шанс повзрослеть, и я одна теперь разбираюсь с тем, что было в нас самого детского. Нашей детской

верой в Бога, которая, показал опыт, не более чем привязанность. В свете маминой смерти нарушенная привязанность и обида на Того, Кто не явился, когда Его призывали.

«Мне все испортили» – это значит, что жизнь ее недотянула до сказки, в которой той, кто вел себя хорошо, был в целом добр и не совался, как ворчит садовник у Толкина, в дела мудрых, в конце посчастливится. Тут еще не очевидный акцент на том, что посчастливится именно в конце, так как основной прогон сказки – это полоса несправедливостей, испытаний и трудов, которые и должна уравновесить, увенчать итоговая награда, иначе в чем смысл? Бог в глазах мамы сыграл не по правилам, а это значит одно из двух: кто-то из них плохой.

Развилка вспугнутого до бешеной пены ума, которой не избежала не то что мама – а, например, христианский писатель и проповедник Клайв Льюис, в чьей книге «Боль утраты» я долго ищу шовчик примирения с Богом. Клайв Льюис ведет дневник после смерти своей горячо любимой жены от онкологического заболевания и, себя не узнавая, вдруг кажется куда знакомей, понятней и ближе мне, чем в его отвлеченных, светлых и приправленных мягким остроумием сказочника богословских эссе. «Мне все испортили», – вот-вот будто скажет и он, с горечью потрясая руками, не удержавшими прошлое счастье, которое он описывает так убедительно, что начинаешь вместе с ним негодовать, зачем было Богу разрушать этот союз, блистающий отблеском нездешней гармонии едва ли не сильнее, чем «золото лучей» и «небо Твое, сияющее звездами»?

Льюис переходит к принятию утраты бесшовно, так что я не успеваю заметить, куда сосупить с развилки, чтобы последовать его примеру. Его книга начинается с альтернативы плохих: он ищет в своих отношениях с Богом ошибку, которая бы вполне объяснила его страшное разочарование, страшно сказать, в Нем самом. И вот я никак не уловлю, где именно, на каком ходе все еще сильной, приученной к трудной работе мысли Клайв Льюис переходит от гипотезы, что он до смерти жены будто бы и не знал Бога, к убеждению, что он не знал самого себя. В начале книги он называет Бога космическим садистом, а к финалу обращает риторическое оружие против себя, сравнивая свою веру в Него с карточным домиком, который Бог разрушил вместе с его брачным счастьем, построенным, как признает Льюис, на картонной любви – иначе откуда в его чувстве утраты было бы столько себялюбивых желаний и глупых подмен?

Меня не удивляет ни изящество этого логического выхода из отчаяния, ни, страницами ранее, несдержанный ужас перед одним парнем, по-обывательски собравшимся на могилку – маму навестить. Льюис, кажется, дрожит от отвращения – к тому, что можно здесь, на земле, принять за частичку присутствия ушедшего человека. Я хорошо понимаю его: и у меня к могилке – пустота в сердце, чувство, что пришла не туда, где она теперь. Не понимаю другого. Как мог даже такой искушенный в вопросах веры человек, как Клайв Льюис, забыть в своем счастье и решить, что оно в самом деле может быть целью Бога?

А все мы, все, пока живы, так думаем, и наши приемы по энэпированию действительности – помни о хорошем, умей рисковать, говори уверенно, расставь приоритеты, иди за любовью, выбери лучшее, стремись к большему – в точности дом на песке, потому что, когда, как обещает Евангелие, «пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот», первое, что не устоит, – это наша вера в счастье как цель бытия.

В утрате впервые по-настоящему настаивает догадка, что Бог со мной не заодно. Похоже на кризис трех лет в трогательном описании психолога Петрановской: человек изумляется, как это – мама, и вдруг может хотеть чего-то другого, чем я?

Критик Анна Жучкова, с которой мы уютно выясняли наши разногласия по поводу травматичной книги Анны Старобинец о потере ожидаемого ребенка и вдруг разожгли параллельную дискуссию о реально пережитых нами утратах, сказала мне: «Не держи обиду за маму. Ведь и маме, – предположила она мне в утешение, – болезнь послали как путь сжигания обиды на жизнь».

Это оборотная сторона веры в заботливое устройство нашего счастья как цели Творения. Тот, кто несчастен, всегда немного виноват. Именно в нем ищут причину, объяснение воли Бога, вдруг захотевшего другого, чем мы.

Психолог Маша Мошковская, которую регулярно читаю в Фейсбуке, благодарная за эти бесплатные консультации в блоге от человека, за час терапии которому платят уже тридцать тыщ, написала недавно, что если бы она заболела раком, то пришлось бы признать, что все-таки жизнь она не любила.

Явное противоречие с Клайвом Льюисом, опротестовавшим приговор своей жене тем фактом, что она как никто умела наслаждаться всеми радостями жизни – материальными, интеллектуальными, духовными, – наслаждаться и никогда не заскучать.

Впрочем, выше Льюис обмолвился, что счастье пришло к его любимой слишком поздно, и мы готовы ухватиться за эту наброшенную на счастье тень сожаления, чтобы наковырять под ней корень недуга.

«С хорошими людьми так не поступают», – говорила и моя мама, видя в приговоре проклятье, прижизненное отлучение, и вспоминала, очевидно, по прямой ассоциации с этой главной несправедливостью жизни, все причиненные ей обиды, включая четверки в школе от историка, ревновавшего к ее независимому нраву, и немки, отомстившей за раз только прогулянную мамой олимпиаду. «С ребенком не надо бодаться», – наставляла меня мама, но в нее саму будто норовили упереться лбами все значимые взрослые ее жизни, от ее матери до моего отца, старше мамы на... вот уже забыла, сколько лет, но помню, что вравшего ей про свой возраст.

И когда я пыталась подогнать ей неловкое утешение в стиле брошюр для прихожан, где практические советы по спасению смешаны с расхожей риторикой, мол, испытания не проклятье, а наоборот, способ помочь стать лучше, мама отвечала с искренним удивлением ребенка: «А я от этого лучше не становлюсь».

«Обиду обидой не лечат», – поддержит маму и Лена Лапшина, когда я признаюсь ей в своем изумлении перед тем, как жесток урок Божий, если поверить, что болезнью Он исцелял маму от обиды на жизнь. В моем понимании урок имеет смысл только в свете гарантированной практики. Уроки здесь – чтобы научиться жить здесь.

Вина мертвого – главный щит живых. Горе – стыд перед людьми, это почувствовала и мама, запрещая мне писать в Фейсбуке или говорить знакомым о нашей беде. Здешний мир – для выживших, для счастливых, а горе отъединяет от всего, чем держится у очага узкий человеческий круг. В горе ты вытолкнут во тьму внешнюю.

Я помню, как единственный раз за наш первый год меня до злости задело хлопотливое внимание к моему ребенку посторонних женщин – санитарок в хосписе. Меня раздражали их воркования, и советы прикрыть сквозящую дверь, и подложенные под малыша с игрушками чистые цветные простынки, и расспросы, и умиляшки – в то время как я прилагаю усилия к тому, чтобы маме срочно исправили кислородный аппарат, где кончилась вода, умыли пересохший рот и приподняли, как выразилась наша последняя «Скорая», головной конец. Живые о живом – теперь я лучше понимаю их, неосознанно переключающих внимание с той, кому уже ничем не помочь, на того, в кого стоит реально вкладываться. Я и сама чувствую, как переключаюсь, и великий свет прощания, осенивший меня в день ее ухода – так что я чисто-сердечно признавалась подруге, что вовсе не в отчаянии, и потом боялась, что она сочла меня бесчувственной, – сменился червивым страхом перед внезапной неизбежностью.

Поэт и критик Елена Погорелая утешала меня тем, что матери нас учат умирать. Но я теперь боюсь быть как мама. Боюсь, когда чувствую в себе ее стремительное желание разделаться с очередным отрезком дня и страстную концентрацию на том, что там, за ним, хотя помню, как сама же учила ее, поздно поумнев, не ждать нетерпеливо лета, потому что вместе с осенью, зимой и весной к новому лету минует новый год жизни. Боюсь, когда наваливаю

на себя забот и злюсь на них, как на упорно наползающих муравьев, к кому сама забрела в муравейник, хотя помню ее повторяющиеся ночные проекции многозаботливых дней, когда снится, что надо вскарабкаться, отбиться, рассчитаться, вломить первой, от которых я спасала ее, подбегая будить, когда закричит, и мы шутили, что ночью я всегда на дежурстве. Боюсь, когда, споткнувшись посреди самого рядового дня, я вдруг почувствую, как мелкое разочарование – ударилась, пролилось, рассыпалось, убежало – вдруг добивает каплей по макушке, и я восклицаю в сердцах: «Как меня все достало!» – или: «Как я несчастна!» – или, совсем по-маминому: «Сволочь я», – и тут же дергаю Бога за полу домашнего мамино халата, дергаю и прошу: «Нет-нет, не слушай меня, у меня все хорошо, я счастлива, я всем довольна, только не отбирай у меня, не отбирай еще и это, оставь мне их, родных, живых, я учусь, я уже почти умею быть благодарной за все».

«Как часто горькую обиду подавляет смертельный страх», – пишет Льюис, и я чувствую, что мою благодарность Богу я теперь предъявляю, как паспорт с отметкой о регистрации: только отпусти! И со страхом жду, что он еще предъявит в ответ. «Нельзя ругаться, а то Боженька язычок отфигарит», – непечатно и мрачно высмеяла мама свое впечатление, как чересчур много того, за что ей могло вот так прилететь.

Воздаяние – пожалуй, самый далекий от Евангелия этический принцип. О людях, «уже», то есть здесь, при жизни, «получающих награду свою», там сказано с пробирающей до костей угрозой. А о жертвах, к примеру, массовых катастроф – что они не грешнее прочих. Евангелие мотивирует не на добро в десяти заповедях, а на любовь в двух направлениях: к Богу и ближнему, а тот, кто любит, не нуждается в мотивации. «Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра», – спотыкаюсь я в благодарственном акафисте о слова, которые на язык психологии переводятся как принцип полноты ответственности за любое решение: что делаешь, делай для себя. Однажды я сообщила подруге, что подала в храм, и она усмехнулась: большое одолжение Богу сделала.

Добрые дела – наш амулет от встречи с Богом: мы стараемся доказать, как полезны на этом свете, чтобы избежать увольнения на тот. «Я бы многим помогла», – с нежной мечтой проговорила мама, словно от души протягивая Богу на льготных условиях составленный договор, а потом, недели спустя, разрывая его в отчаянии: «Я никому не помогла», потому что уходила, не проводив мать и не вырастив внука, в междуцарствие ее преклонных и его ранних лет, вынужденно и впервые допустив мысль, что ни матери, ни внуку она в глазах Бога ничего не должна.

Последние годы она жила в страхе, что с матерью там, в Киргизии, за три тысячи километров от нас, случится непоправимое, окончательное, а ее не будет рядом для немедленных действий, и мать будет «валяться», и надо было видеть облегчение, с которым она крестилась в условные дни, отзвонив бабушке, чтобы словить дзен от безразличия, с которым она махнула в хосписе на мою тревогу, что придется с младенцем ехать в Киргизию: да зачем, там же есть еще Джамия.

Самый бесполезный год своей жизни мама проведет, считая, что выполняет свой долг: в Киргизии с матерью, которая не выходит из дома и все хуже видит, но выжила ведь без дочери, когда пришлось. Я помню, что отпустила маму по внутреннему договору, который и мне Бог не подписал: отпустила по-хорошему, чтобы не отнял силой, потому что не ругай постылого – отнимет Бог милого, говорится в еще одной не подтвержденной Евангелием бытовой мудрости, которой и мама верила, и в тот же год призналась мне, что специально решила меня теперь не слишком любить, дабы не перегружать карму ожиданиями.

Весь свой бесполезный год мама мерзла, изнывала от скуки и мучилась животом, подключаясь к миру, радости и смыслу через планшет, который я насилу уговорила ее взять с собой для связи. Весь год она гладила меня, беременную и счастливую, на экранчике и, поль-

зуюсь неограниченным ночным интернетом, смотрела на Ютубе ролики про любимую и только однажды вживую увиденную Италию.

Бог забрал ее, когда она могла быть полезней и счастливей не меньше, чем Льюисова жена, к которой счастье тоже пришло слишком поздно и ненадолго, как будто в примерочную перед закрытием магазина. Мама успела познакомиться с чужой внучкой, к которой нанялась для подработки, и впервые, насмотревшись на наши титановые обручальные кольца, которые я едва уговорила мужа купить и теперь, под стать ему, не ношу, пожелать чего-то для себя. «Хочу, – говорила в планшете, – какое-нибудь кольцо. В молодости, – вспоминала, – я не признавала серьги, а вот кольца носила». Я разволновалась так, будто она потребовала у меня определиться с квартирой для ипотеки, но к осеннему ее дню рождения случился отбой. «Нет, – сказала мама, – меня не порадует, без главного, чего бы я теперь хотела, меня ничего не порадует».

Многие утешали меня, указывая, как милостив Бог, допустивший, чтобы я вышла замуж и успела родить до того, как маму перестанет радовать. А я теперь думаю, не больше ли Его милости в том, что я тщетно пыталась выйти замуж и родить и тридцать пять лет прожила с мамой, несмотря на предупреждения подруг, что пора и квартиру снять, а то никакой личной жизни, – тридцать пять неразлучных лет перед полным обрывом контакта?

«Тебя Бог не любит», – сказала вместо «спасибо» маме едва ходившая соседка, которой мы носили молоко и хлебные батоны, потому что ее единственной племяннице, как она говорила, некогда. Но чем мы меряем Его любовь? Только что не батонами.

В наше последнее лето с мамой я будто репетировала утрату. Я была на пороге перемен и торопилась переступить, смутно чувствуя непонятно кому адресованное досадливое облегчение от надежды, что уж на будущий год я не в том буду положении, чтобы опять, как девочка, ехать на каникулы к бабушке. Я приехала отдыхать с полным колчаном нерастраченных сил, которые вдруг просыпались вхолостую: весь отпуск меня трясло от призраков прошлого и тревоги за будущее. Кульминацией того лета стала ниоткуда, как облако в окно, всплывшая после счастливого вечернего сна в маршрутке из дышащего горными ледниками селения мысль, будто бы у меня будет рак, – и животный хрип сознания, боровшегося с этим всплывшим ужасом до следующего лета, когда я родила малыша в зодиакальный месяц Рака и подумала, что вот так легко отшутилась от непонятных предчувствий. А завязалось в шашлычной с пивом, где я впервые столкнулась с утратой – тоже как будто всплывшей в пивной пене и ударившей маме в голову, обычно не отвлекающуюся от текущих забот. «Бедный, – сказала она ни с того ни с сего, – бедный Касатик».

Это еще один урок от мамы: что чувство вины, как и чувство долга, не дружит с чувством реальности. Мама не должна была мучиться в Киргизии год, как я не должна была подскочить, будто от пивной икоты, когда она размякла от радости встречи и еды и приоткрылась душой.

Знаменитая Гиппенрейтер учит родителей активному слушанию в диалоге с детьми, но даже взрослых, понятных и равных, признания колотятся в нас, как мяч, заскочивший в трубу, и застревают в уме резиновой падалицей. Прошло два года, прежде чем Гиппенрейтер в аудио, терапия и собственные неотступные размышления подсказали мне единственно верный ответ на мамину реплику, которая вытянула бы мяч обратно в веселую летнюю игру.

«Бедный Касатик», – говорит мама, называя своего брата с домашней лаской их бабушки, это прозвище мама закажет выгравировать на его кладбищенском памятнике, и я тщетно буду подбрасывать этот ориентир администратору Ракиток, с которой мы ищем место захоронения, куда через день подселим мою маму и где трава забрала и домашнее имя, и ФИО, и полтора года назад цепко вкопанные мамой в землю тряпичные на проволоке цветы.

И я отвечаю: «Скучаешь по дяде Вене» – без вопроса, как советует Гиппенрейтер, и называя чувство мамы тем словом, какое ко мне самой пришло только через полгода после ее смерти, когда я только и научилась понимать, что могла она чувствовать, когда ушел ее брат.

Вместо этого я, как часто в детстве, блокирую ее приоткрывшуюся ко мне дверь и напираю со своей стороны полным сумбуром чувств об ушедшем дяде, куда включено все, кроме собственно утраты, которую я и в отношении мамы расчувствовала не сразу. Мы вспоминаем самую детскую – а потому неподконтрольную взрослому человеку – боль: про то, как дядя Веня собрался с мужскими силами и, будто заемный отец, отправился с мамой встречать меня из первого и единственного в моей жизни горного похода, оставившего мне большой рюкзак, с которым я моталась в Европу и на форумы молодых писателей в Липки, спальник с пенкой и долгие годы не заживавшую травму. В походе у меня не сложилось общение со спутниками и вообще все пошло против моих ожиданий от компанейской прогулки в лесах – пожалуй, сейчас я бы оценила возможности той поездки, и она прошла бы глаже, но, если бы не обожглась тогда, боюсь, в принципе бы не научилась ценить. И вот меня встречают два человека, которых мне не хватало призвать в походе, чтобы разрулить непонятные трения с насмешливыми спутницами и узнать, как действовать, когда на тебя вот только что, в аэропорту, наорала из-за неразберихи с чемоданами и каталками твоя бывшая одноклассница, с которой мы уютно просидели несколько лет математики и английского, да горный маршрут рассадил. Только став мамой и впервые раздражаясь на того, кто передо мной беззащитен, я глубоко пойму главное утешилово, которое подгоняют психологи обиженным клиентам: люди срываются от бессилия, не бери на свой счет. Тогда же я вываливаюсь из аэропорта окончательно раздавленная, будто горная букашка туристическим рюкзаком, с одним желанием – немедленно уткнуться в маму и поплакать, но при дяде приходится держаться и дергаться, а он тоже не знает, что люди срываются от бессилия, и берет на свой счет, и счет тот подлиннее моего, и вот торжественная встреча родных подмочена, медные трубы хрипят от залившей их грусти.

И надо же было, чтобы именно в это лето мне подвернулись фотографии моих давних спутниц из нового похода в дивной плюшево-зеленой траве алтайского плоскогорья, с подписью моей одноклассницы, на этот раз, видимо, набравшейся в дороге сил для радости: она писала, что здесь, в зеленом раю коней, отчетливо внимает голосу, раздающемуся отовсюду: «Я тебя слышу. И я тебя люблю».

Психолог мне потом скажет, что зависть – лучший контролер уровня счастья, но плохой навигатор: подсказывает, чего сейчас не хватает, но не говорит, куда за этим бежать. На плоскогорье раздавали глас Божий, над плоскогорьем разливалась безусловная Божья любовь, и я несколько дней отпуска посвящаю прениям с мамой, обиженной тем, что я рвусь от лучшего, что она и жизнь мне дают сейчас, к каким-то чужим людям, в какие-то чужие места. Я помню, что на будущее лето собираюсь быть уже не в том положении, чтобы ехать на лето в горы – ни за конями на Алтай, ни хорошо кушать к бабушке. И отчаиваюсь, что место встречи с Богом, который бы меня вот так, в голос, слышал и любил, откладывается на неопределенно долгий срок. И негодую, что все внимание Бога сейчас достается не мне, а людям, в связи с которыми я и мой дядя так глубоко захлебнулись грустью.

Когда через два года в те же дни я снова приеду к бабушке, я больше всего боюсь вернуться к своим сожалениям о том последнем лете с еще здоровой, а скорее всего, неявно больной мамой – и остаться один на один с моей детской виной, завистью и обидой. Но я провела в Киргизии месяц, и меня ни разу не накрыло, и, два года спустя, я без труда и срывов исполнила страстный завет моей матери, хлопотавшей о том, чтобы напитать меня летом силами и здоровьем на рабочий год. Я ходила по узким, засыпанным щебнем улицам, утыкавшимся в самочинно застроенные владельцами частных домов тупики, и мне казалось, что прямо здесь, не отходя от шашлычной с пивом, я слышу голос, раздающий безусловную любовь. И что голос этот – мамин.

В этом году я приехала к бабушке счастливой, но без мамы. А тем летом была там с мамой, но несчастлива.

Мне нравится идея, что ада нет. Что Бог не отсылает душу, а это она сама, отсырев от печали, не может подняться к Нему и в бессрочном скитании в сферах, на разный накал прогретых Его любовью, сушит свои тяжелые и липкие ангельские ризы.

В счастье мне кажется, что я слышу Бога, потому что счастье похоже на Бога. Вездесущее, сияющее во всю широту мира, выбрасывающее протуберанцы силы, чтобы не разорвало от полноты горячего света и слепящего тепла. Почему же я думаю, что специально для меня зажмет любовь Тот, в Чьей природе – беспредельность?

От обиды на мой первый поход и от стыда за наше последнее лето я жалуясь Богу на свои связи. Но это Он хлопал в ладоши мне над ухом, чтобы вывести в зону лучшей слышимости. А я не слушаю – я ищу плюшевый рай с конями, потому что знаю только один образ любви: когда Бог, как мама, пожалеет и даст доспать, донезиться и раздумает будить, тихонько прикроет за собою дверь и отрежет от утреннего холодного ветра, и забитого автобуса, и школы, где, не ровен час, высмеют и опять много зададут.

И вот я подбираюсь и, кажется, нащупываю едва заметный шовчик Клайва Льюиса, задевающего прореху в картине веры. Льюис узнал цену своей вере, когда измерил правдивость и полноту своей любви. А я – своей утраты.

Это только кажется, что горю до нас достучаться быстрее, тогда как за счастьем придется лезть в плоскогорье. Десять встреч по часу мы с психологом Ульяной Чернышевой разбираем мое чувство вины и стыда и так и не доберемся до того, что их вызвало. Виной и стыдом легко завалить любую прореху, и я уютно расчесываю на коленках корочки обид, страхов и споров, вводя утрату в привычку, подсекая ее в однокомнатный наш интерьер, обихаживая место отсутствия цеплючими разляпистыми цветами.

Утрата затирается в быту, как изначальная любовь, баррикадируется пивасиком из холодильника, трусами мужскими, женскими и детскими, грудой посуды в раковине, пылесосом, который мешаает, куда ни поставь, наконец, неизменно оживляющим утро, день, вечер и ночь ребенком – о, ребенок безразмерная затычка на месте любого отсутствия, он заменяет общение и секс, утрату и вдохновение, амбиции и смысл жизни.

В книге Анны Старобинец о прерывании беременности на позднем сроке есть интервью с женщиной, образцово переживающей утрату. Она носит черное и заставляет плакать себя каждый день, пока длится отведенный ей для себя и семьи период траура, и я начинаю завидовать ее правильному погружению в медитацию горя, потому что я нарочно не носила черного и плакать ленюсь.

«Разучилась плакать», – жаловалась мама, которая и хотела бы выплакать свое несчастье, да не могла. Теперь я ее понимаю. Плакать не можется, как не находится сил бессонной от муторной тяги в животе ночью встать, и дойти до туалета, и влить в себя теплой соленой воды, и, заранее содрогаясь и давясь, расщекотать пальцами в горле смерч нутра, чтобы вымыло, вымазав лицо и руки, частички пищевого яда, нудящего тело к тревоге.

Так было со мной несколько лет назад в рабочем бараке под новогодней Москвой. Я подключилась ко второй в своей жизни смене православного молодежного сообщества, помогающего реставраторам церковей и монастырей, в надежде найти компанию по душе, и, хотя в эту смену я впервые узнала, как принято у воцерковленных людей справлять Новый год, поработала шпателем в респираторе и увидела труднодоступные деревянные храмы Подмосковья, запомнилась она мне самой долгой, одинокой и никчемной ночью, когда со мной опять случился редкий приступ повторявшегося иногда внутреннего сбоя.

Моя утрата – это беспокойная ночь в теплом бараке, устланном спальниками, через которые так трудно пролезть незаметно, что даже не хочется начинать, но придется, потому что тело как будто взвилось против законов выживания и гонит меня прочь из людского тепла в промерзлый предбанник, где даже не туалеты, а ведра в бетонной нише, и я склоняюсь над поганим ведром, и мокрые пальцы липнут к стальной ручке, когда я несущего его еще дальше в

ночь и холод, к помойной яме за обледенелыми сугробами, а тело не унимается, и я, каждый раз пробираясь обратно в темное тепло спальника и устраиваясь, как до утра, хорошо знаю, что скоро встану опять и буду вставать до последней капли желчи, от которой накануне меня вело и понуждало злиться на всякую мелочь, а теперь я будто вычищаю эту копоть злости целым полем хрустящего снега, через которое, когда совсем скрутило, я иду под круглой луной к деревянному туалету-сараяу возле храма, к которому днем мы носили бревна, обходя сердито лающую собаку, и мне не вспомнить, что так выводило меня из себя накануне, мне лишь бы собака не тронула и внутри утихло. И вот наконец моя ночь крепостью за минус двадцать градусов подходит к утру, и я, не проспав и минуты, вхожу в барачную нашу кухню и не помню ни зла своего, ни мучений от радости, что вижу человека, одного из смены и, кажется, самого высокого. Он читает утреннее молитвенное правило, нам всем сегодня к Причастию, но я прошу его помочь мне, и он вызывается добыть активированного угля, а я успеваю спасти его и дежурных по кухне от синего санитарного света, который они по ошибке включили.

Плакать от утраты можно, только насилу вычистившись, выпустив из себя всю желчь. Горе – стыдно, болезнь – обидно, смерть безобразна, вина прогнила, жалость тягомотна, и только утрата – чистое чувство, легкое, сильное, химически резко прочищающее контакты в голове. Утрата – стерильное чувство отсутствия, и, чтобы добраться до нее, надо выполнить рвоту как работу, вытащив из нутра все то, что забивает пустоту и бродит, пустотой подтравленное. И не смыкать глаз, и шебуршиться, и лезть через весь барак, пока все мирно спят накануне Причастия.

И вся жизнь до утраты – это мирно, тепло и тесно спать накануне. А когда придет час, увидеть вещий сон, с которым к Иосифу Прекрасному не ходи, так он ясен и говорящ, яснее снов виночерпия и хлебодача: в самом начале нашей с мамой последней осени ко мне ночью пришли два грудных младенца, тучный и тощий. Да, один такой здоровый и милый, что не запомнился, а второй, худой, болел и, помню, грудь не брал, как я ни старалась.

Две новости, хорошая и плохая, год чудесного прибавления и непоправимой утраты – о чем тут еще говорить, но сейчас, мне кажется, я вижу в этом сне новый смысл.

И прибавление, и утрата, и возвышение, и казнь, и жизнь, и смерть – это дети, Его дети, равно и одновременно врученные моему попечению.

Нет, в Его любви к нам не видно жалости, в нее не уткнешься поплакать, как в мамино мягкое тепло, обернутое байкой зимнего халата. Он не оставит доспать.

Христос завершает исцеление словом «Иди». Утрата – это когда ничего не остается, кроме как встать и идти и жить вперед и дальше, потому что все, что было, выплеснуто поганым ведром в ледяную яму вещей и отношений, которым от века положен предел меньше века.

Божья любовь не нежит, а нудит. Она не о том, чего бы мне хотелось, а о том, с чем я могу сейчас справиться.

За это трудно почувствовать настоящую, слезную благодарность. Но легче подтянуться, встать и пойти.

Исцеленным от прошлого, с нуля начавшим жить, до новизны вычищенным человеком.

26 октября 2018

Соломенная нога

Как время лечит, показывают сны. Моя теория работает, и я веду дневник. Весь этот год вечерами я залегаю, как в батискафе, на терапию, а по утрам веду счет улову. Мой жемчуг мелок, мутен. Ум топчется вокруг личного кошмара, и, хотя кошмары тоже добыты и записаны числом три, страшно не то, что чудилось под толщей забытья. Что-то еще шевелится и тянется ко мне в туалете, куда в детстве я боялась заходить, потому что там она прятала «юка» – всего лишь пластмассовое и даже в брюках и при галстукке, как из «Ну погоди», отражение самого зубастого лица зла, какое я тогда могла вообразить, а сейчас была бы рада волку, но шевелится и тянется бесформенное, темное, ветхое, словно сброшенное в углу, как тело с души. Что-то наваливается и душит, и я сквозь тяжелую воду докрикиваюсь до мужа, про которого во сне не забыла, что он рядом, потому что и сон явился душить меня будто в нашу реальную кровать, где спим вповалку втроем, как в берлоге, и где, пока еще ходила, приходила подремать она. Третий кошмар и был про то, что пришла опять подремать, а я во сне не забыла, что она там, откуда не приходят, и сбегая от нее с ребенком на кухню, где в двери хлипкая шеколда, на которую запиралась, когда в пылу бурной ссоры на всю нашу однушку хотела было наконец побыть одна, а ее это злило, потому что по факту я тут не одна, и нечего хлопать дверь: обвалишь, но сон без препон и хлопка растворяет дверь, и ко мне входят, и мне говорят, мол, чего ты испугалась, не видишь разве, дурочка: все мы живы?

Не это страшно, да, а душит другое, реальное, из жизни, не из сна. Приходит понимание, что оно не лечит, время. Оно и есть то, от чего мне хочется исцелиться. Оно мой главный враг.

На середине дистанции я сдаюсь, и несколько снов с ее участием так и остались незаписанными, потому что не бросилась, как проснулась, к мобильнику, не записала, а потом, в легком и бессвязном забытии дня, затерлось, забубнилось, забаюкалось. Приелось. Я заказывала терапию, а вы мне тут расковыряли. Я просила встречу, а вы мне про неизбежность расставания.

Это его, времени, неизбежность. Это время – главный герой моих снов. Раз за разом я возвращаюсь в ситуацию ожидания того, что ни изменить, ни перемотать нельзя. Только прожить в ожидании, во времени, в его последовательном и необратимом ходе от начала к концу, в котором, конечно, тоже будет свое начало, но мне там, во сне, оно не светит, не греет, не сдалось. Мои сны – о предчувствии рубежа, когда то, что есть, закончится, и закончится так, как я знаю наперед, и это предзнание мучает во сне так же, как в жизни мучило позднее сокрушение о неведении, невольном уклонении от очевидного, когда каждый раз казалось: еще не конец и даже самый последний вечер в хосписе оставлял парадоксальную надежду – наутро я собралась основательно, как на много дней дежурства, и готовилась с ребенком засесть в палате, не ведая, что вчера был последний вечер, когда она была в сознании, за которым вот и наступил последний день, когда я слышала ее дыхание, однообразно редкое, опадающее, будто под прямым углом к приковавшей ее неизбежной горизонтали, и вдруг сменившееся инерционными хапками воздуха, когда грудь замерла и несколько раз торжественно и под тем же прямым углом опал и воспрял сухой, обмытый ватным тампоном рот. Я жила в неведении о неизбежном, да, и моя подруга считает, что это меня спасало, но потом мне казалось, что многое я сказала и сделала бы иначе или не сказала и не сделала бы, знай я наперед, что вот всего-то и осталось – полдня, месяц, год, пять лет, десять. Каждый прожитый общий день отмечен теперь числом: сколько «до», и в свете числа многие мелочи перетолкованы в преступления. Мои сожаления о последнем лете, годе, новогодье, вечере дома, минутах в хосписе – они, вот поняла, не о том, как это было. А о том, что, как бы ни было, это в последний раз. Неважно, что помимо обратного отсчета этого рубежного «до» было еще не исчислимое в днях, почти бесконечное для меня, наше общее, изначальное «до». В нем было и хорошо, и плохо, в нем мы ругались, как две тетки, которым тесно на одной кухне, и сливались в утробном единении

матери и младенца, которое обе так и не переросли, как высшую форму любви. И лета, и вечера наши, и утра, и расставания случались без счета, пока не сказано было: сколько их ни есть, вот вам последнее.

Я так и не знаю, была ли я в палате, когда отзвучал ее последний вдох, я шла от самого выхода во двор через долгий нарядный холл с развесистыми кустами и домиками для попугаев и шиншилл, я несла доставку от «Лабиринта», про которую вот уж забыла в своих кропотливых сборах, я доплатила курьеру за смену точки назначения – отменить почему-то в голову не пришло, – я вообще то и дело отходила: то поносить хнычущего ребенка по засвеченному солнцем и принаряженному после Нового года маленькому парку за окнами, то добыть специально пропитанный ватный тампон, то потребовать срочно починить аппарат искусственного дыхания, в котором вдруг пересохло, и надо было долить воды, и вот отошла за заказом и, пока внесла и пока положила в самый дальний угол палаты, не прислушивалась и не сразу поняла, что не так. А поняв, выбежала снова – искать, требовать, спрашивать – и с наконец добытой медсестрой внеслась обратно, чтобы увидеть последние движения рта, и снова не понять, и переспросить у многозначительно замолчавшего и позже всех поспевшего врача: умерла? – таким удивленным тоном, каким переспрашивают о старой деде, которая неужели наконец вышла замуж, вы подумайте. Я так много делала лишнего – и все же успела на эту символическую последнюю секунду, хотя первый переход: от мамы, вчера сказавшей мне на прощание равнодушно: «как хочешь», когда я пообещала, что снова приду, и зятю: «Леша, спасибо», когда он приехал после работы забрать меня с ребенком, – к маме, возле которой я молюсь и маюсь, чувствуя, что удерживаюсь теперь здесь больше для себя, чем для нее, – этот первый невозвратный поход проделан ею в мое отсутствие. Я столько делала, когда ничего уже не поделать, и успела только потому, что мама не подвела. Ушла вовремя, и мне не пришлось переносить ни доставку из «Лабиринта», ни плановую прививку ребенку, назначенную на завтрашний день.

В моих снах я отбегаю от точки перехода, будто заново оттягивая спущенную тетиву. Цель поражена, стрелять нечем, но я прислушиваюсь к самому напряжению оттяжки. Решительно выключаю музыку, когда моя мама что-то невнятно бубнит, не вставая; «это моя единственная мать, – сердито выговариваю я кому-то, кто будто не дает нам пообщаться, – и я хочу слышать, что она мне говорит». Я заползаю за диван и давлиюсь там слезной мольбой: «исцели ее, исцели», и тут же холодным умом, который и во сне бдит, замечаю себе, что Бог, вероятно, ответит на это лишь – раньше, мол, надо было так истово молиться. Тогда я с большей уверенностью прошу о смерти для кого-то там, за пологом, на аппарате искусственного дыхания, в память о ней, которая, я видела, так измучилась, не добирая воздуха.

Время ожидания можно продлить в бесконечность, если переправиться в последний приют неведения о том, что предстоит. Киргизия – запавшая клавиша разлуки. Здесь мама проносила всю мою беременность и, следует полагать, самый легкий год своей болезни. В настройках сна поставлена галочка, что здесь мы не можем быть вместе. Вот маме у бабушки хорошо, она посвежела и моет виноград. Я удивляюсь, что местное активное солнце ей не вредит, и внутренне соглашаюсь отпустить ее сюда хоть навсегда, раз уж ей тут лучше. Я плачу возможностью ее видеть за возможность ее сохранить. А когда я собираюсь поехать сюда вслед за ней, чтобы наконец побыть вместе, она жалуется, что тут море никакое (в Киргизии? Вот уж правда), волны низко, и собирается срочно вернуться домой, оставляя меня в растерянности, что мы опять разминемся.

Самый грозный сон о нашем невпопаде явится за мной в пансионат «Ершово», в семейный домик на две едва отапливаемые комнаты, куда мы заселились всей семьей, чтобы я могла без отрыва от ребенка и в то же время нимало о нем сама не заботясь участвовать в проведении семинаров для молодых писателей. Проснувшись наутро, я не сразу понимаю, что это сон, а поняв, чувствую невероятное облегчение, что в жизни все случилось иначе – жестче, да, но притом и милосердней. Мне приснилась тихая сказка о смерти, которая меня не побеспо-

коит. Мама побыла со мной в Москве и уехала к бабушке, зная, что это ее путешествие – в один конец. А я давно ей не звонила, все некогда было, и сейчас, набирая, бегу через летние улицы большого города, вокруг спуют, во мне колотится, и я едва заставляю себя дозвониться, потому что сколько можно откладывать, и мне отвечает какая-то из подруг ее джалал-абадского детства, что вот, уже началось, она уходит, сейчас в беспамятстве. Никакое мое реальное чувство вины перед ней не сравнить с тем, как я дернулась в этой ловушке маминой деликатности. Мама ушла тихо, чтобы не потревожить меня. Умерла от обратного соединения молекул – сообщают мне во сне, как медицинское заключение. Я оправдываюсь перед бабушкой, что ну как-то все мелькало, давно не звонила поэтому, но что же мама не вышла на связь сама? Бабушка утешает меня своеобразно: да она, говорит, потеряла интерес к разговорам о твоём золотом муже. И я понимаю, что она имеет в виду: мама убедилась в Москве, что у меня все в порядке, успокоилась и отпустила меня: ей перестало быть волнительно, интересно обо мне.

Я вспоминаю ее только сном оставленное на память ободрение: ты, мол, справишься. Но это я, я хочу ее ободрить, и я накручиваю диск иллюзии, чтобы во сне вообразить, как дозвонилась ей и говорю, скрепляя внутри разбежавшиеся было слезы: давай, друг, у тебя получится, если что – позвони! – и тут же холодным умом понимаю, что так не получится ни в воображении, ни в реале, потому что ведь как я ее тогда, поймав за миг до беспамятства, отпущу от трубки телефонной – в Такое? Нет, не пустила бы, я бы висела и висела на трубе, не в силах после «а» сказать «бе», и помешала бы торжественному финалу ее тихой, достойной, одинокой сказки.

Из летнего города я попадаю в ряды каких-то полок, сквозь которые пробираясь, я перебираю в уме вдруг ввернутый к месту стих: «неужели я настоящий и действительно смерть придет?». К литературе подцепляется история, и я думаю вдруг о страшных смертях, массовых – от газа в камере, например, – и представляю, как эти несчастные скопом раз – и очнулись в волшебной стране, и даже вижу эти места, куда их в момент переселило. Я вижу то, что касается и смерти мамы, которая тоже теперь там, в волшебстве, и меня самой: во сне острое, как никогда наяву, чувство, что в свое время испытание, с которым она вот только что тихо справилась, придется пережить и мне.

Что «ты справишься» – сказано ли это не только о жизни с «золотым мужем», но и об умирании? Я трепещу перед неведомым образом этого порога, к которому идем мы все, и в то же время не до конца верю, что и мне придется его переступить, и я отклоняюсь, и отбредая, и бесконечно проскальзываю мыслью вдоль этой невероятной черты. И тут же спотыкаюсь о порог времени: вспоминаю будто бы последний разговор с мамой по телефону, когда она вроде и обрадовалась мне, но не удерживала и ничего не просила, и мне потом тягостно было перезванивать, и вот теперь ей уже не позвонишь, она ушла.

Придя наутро в себя, я наконец понимаю, что сон о том, как давно я не читала по ней акафист за единоумершего, а годовщина близко, и, может быть, моего звонка совсем скоро перестанут ждать.

В «Синей птице», которая оказалась одним на нас с мужем любимым спектаклем детства – только он смотрел его в музыкальном театре Сац, а я, скорее всего, во МХАТе на Тверском бульваре, – я с детства заморожена сценой пробуждения бабушки и дедушки в доме, который вдруг проступает в сонной нигдеии загробного мира. Весь этот год я представляю маму в подмокшем тупичке большого чужого города, где ей вдруг теплее, сытнее и суше от моих молитв, которые чем рассеянее я проговариваю, тем скуднее горят ее считанные спички. И в то же время вижу ее как на ретрофотографии с кухонного подоконника – уже опять девочкой с завитыми волосами, которой все больше не до меня.

Сны пытаются синхронизировать то, что навсегда, с тем, что временно.

В ночь на чистый четверг я вижу маму на пути в баню, она взяла с собой мочалку и собирается хорошенько потереться, и я целую ее, понимая, как хрупка теперь ее телесная оболочка, которую проще совсем сбросить, чем подновить.

Мы ломимся в список допущенных на какую-то презентацию и, когда нас наконец пускают, угощаемся shared bread – разделенным хлебом, и наутро я думаю, что речь о преломлении хлеба в Причастие.

Летом, к полугодью со дня смерти, сон приводит меня в зимнюю очередь, к церковной палатке, где на 19 января, Крещение, я набираю мелочью 19 киргизских сомов и прошу записать в поминание «женщину Евгению», как часто уточняю, чтобы не перепутали окончание в родительном падеже – об упокоении кого?

Наконец сон предлагает суррогат продолжения земной жизни: мама является мне толстой, оплывшей и голой – она выходит на улицу и сидит, воплощенный протест против уготованной ей судьбы, – ее забирают в психбольницу, несмотря на мои требования оставить в покое мою мать, и в палате ей отводят койко-место на пару с малышом. Малыш чумаз, нечесан, он такой же отказник судьбы, как она. Мама обнимает его, и так они лежат согретающимися в двойном несчастье калачиком, и во сне я радуюсь, что вот теперь и там у нее будет радость – свой малыш, тамошний внучок, а проснувшись, вновь чувствую, что реальность, пойдя по худшему сценарию, выбрала все-таки не самый страшный.

Это моя оплывшая, голая, обиженная тревога приходит ко мне под личиной дорогого образа, и вот почему однажды я перестаю записывать эти сны: мне тоже становится про себя не волнительно, не интересно. Мое оживление от движущихся картинок памяти вянет, и я уже только по инерции с утра гуглю буквари сонников, потому что сама слишком хорошо считываю, что значат: банка с медом, яма в земле, платье с вульгарно обнаженной под черным кружевом спиной, баклажан и фиолетовая груша, бодро укушенные во сне набирающимся зубов сыном.

Как вдруг, ближе к сроку сорокадневного поминания перед годовщиной смерти, характер снов меняется. Да так, что я в смятении пишу Ирине Богатыревой как дипломированному фольклористу факультета фольклористики РГГУ. Она расщелкивает мой сон, как белочка орешек, оставляя меня над изумрудной грудой народной памяти, которой я не чувствую себя вправе распорядиться: я-то не изучала фольклор и в толк не возьму, кто и зачем говорит со мной на языке такой глубокой архаики, что кажется, она и жива была только в исследовательской пыли библиотек.

Хотя во сне у меня нет сомнений в том, кто со мной. Я вижу ее вдруг иначе: слишком ясно, близко, буднично и живо. Слишком сейчас. Тетива наконец спущена, терапия сработала, враг повержен. Мне снится моя собственная сказка, фольклор на одного.

А к сказке – присказка.

Мне казалось, что смерть – это вечность, обрывающая наше время, когда еще что-то можно было успеть. Но на практике я раз за разом пробегаю умом наше прошлое – бесконечно, как в колесе. Смерть заново ставит время жизни на старт. Весь этот поминальный год мы с мамой встречались в нашем обреченном «до», от которого осталась пустая обертка тоски, – и вот увиделись в нашем «после».

Не сразу я обращаю внимание на самые важные детали этой присказки – то там, то сям проклюнувшиеся в тексте сна семена будущего. Вот откуда это чувство его невероятной реальности, будто сброшено зачарованное кольцо: я вижу маму в моем наяву, которое она не застала. Вот полки, недавно вделанные мужем в шкаф, из которого много лет выломано вертящееся зеркало – неужели предназначенное в советском гарнитуре под бар? – не знаю, мы с мамой держали там коробки с цветными нитками и резинками для белья. Вот новенькие и яркие, недавно введенные в оборот двухсотки – в стопочке купюр, которые мама, говорит, скопила для меня, суммой тысяча. Вот я успокаиваю ее, когда она беспокоится, что мы ведь берем у

молочника Коли творог и большую сметану, – да нет, говорю, теперь только маленькую, и то если борщ. Вот я понимаю, что она хочет, чтобы я сбегала за пивом, и сообщаю ей, что теперь рядом, в «Дикси», открыли отдел с разливным.

Мы обе взволнованы, и это приятно. Ведь мама вернулась. Здоровая, кудрявая, помолодевшая, вернулась, чтобы жить с нами. Поэтому мы считаем деньги – хватит ли? Поэтому собираемся за пивом – отмечать. Мама пугается: у нее только пенсия, и я успокаиваю ее, что я ведь работаю, и во сне верю в то, что говорю. Все так убедительно, как не верить, и даже вдруг названный ею пароль к зазеркалью я принимаю за особенно точную подробность жизненной правды. Стоя у плиты лицом к кухонному окну, спиной к мойке – исходное положение мамы в каждое хлопотливое утро нашего «до», – она произносит зазеркальное имя какой-то рыбки, когда я спрашиваю ее, а что же купить из закуски. «Этот, как его, – припоминает она, – ламантинш». Мама часто коверкала новые для нее, длинные слова. Говорила, например: «эксбиционизм». Я слышу это кодовое, коверканное слово и смотрю на нее, вернувшуюся, и улыбаюсь: «А я ведь успела забыть, как ты... – и тут же пугаюсь, и поправляю сама себя, – отвыкнуть, как ты перевираешь слова».

Вывернутое слово – пароль входа в сказку, где всё, напротив, так прямо сказано, что к гадалке не ходи – неси сразу фольклористу. Неудивительно, говорит мне писатель и фольклорист Ирина Богатырёва, что все меняется, когда ты переходишь дорогу. Переход – это же символ. Меняется, и правда, а что – сразу и не скажешь. Да и дорога не бог весть какая, перешеечек разворота на отшибе района. Мы встречаемся на автобусной остановке, чтобы пойти к метро, как без счета раз ходили по утрам вдвоем, раздражаясь на копания или суету друг друга, но не в силах прервать томительное удовольствие держаться вместе. Сегодня у нас в планах походить по делам, и как неудачно, что мне жмут мои зимние сапоги. Я осматриваю их и вспоминаю, что муж вот только что купил мне новые длинные, а эти короткие да еще с квадратными носами, которые мне не подходят, – ясно, это ее ботинки, я перепутала и вышла в ее ботинках, на размер меньше. Ну ничего, дотопчусь как-нибудь. Хуже, что она не в настроении. И говорит невнятно, будто во рту мешает что-то вроде карамельки, которую, помню, забрасывала, чтобы забить запах, когда выпьет, и точно: она пила, вот ее бутылка темного пива, открытая. Маму беспокоит, что ехать ей на фестиваль в другой город, а как она поедет? Я помню, что у меня ребенок, и про себя тоскливо отмечаю, что с ней не то что с мужем: будет в дороге срываться из-за будничных пустяков, и все же я приняла решение: предлагаю поехать вместе. Она вяло отказывается, я настаиваю: когда еще я так надолго поеду с тобой? – и снова сама испугана своими словами, не решит ли она, что это намек на ее болезнь, и снова поправляю себя: то есть ну мы так редко выбираемся куда-то вдвоем. Я понуждаю ее идти, у нас ведь планы, я не забыла, наш путь лежит через дорогу в сторону метро. Я перехожу в неполюженном, но удобном месте, скашивая, и на той стороне мама приотстает. Я говорю ей от всего сердца: «Я так рада тебе, я так рада тебя видеть», действительно радуясь этой нашей возобновленной привычке ходить парой. Встречный прохожий вдруг обращает мое внимание на нее. Оглянувшись, я вижу, что она босая на одну ногу. Другая нога обута, но странно, во что-то плетеное, типа соломенное. Мама в шубе, зима, и в открытую темную бутылку с пивом я, переходя дорогу, нечаянно зачерпнула снега.

Неправильная – вывернутая, идущая задом наперед, наоборот обутая, необутая нога – признак покойника, – опознает потом Ирина Богатырёва, но уже сейчас, во сне, я замечаю в будничном раскладе сна неуловимую перемену, и снова чувствую потребность сказать маме, и говорю: «Я так тебе рада, я так тебя люблю». Но говорю это уже со смутным предчувствием, что говорю прощаясь, и поэтому-то говорю нарочно, сейчас: приходит понимание, что надо успеть сказать, пока ее у меня опять не забрали. Я словно перерастаю сказочное зазеркалье, а приотставшая мама недвижимо остается там, в нашей сказке о ее возвращении. Но еще до этого, на пути к выходу из сонной норы, я успеваю понять, почувствовать самое поразитель-

ное и светлое в этом видении: что мама уже умерла, а значит, это ее возвращение теперь – бесконечно, оно не прервется ничем, потому что смерть, отыграв свою партию, нам больше не угрожает. Я чуть ли не смеюсь от этого счастливого открытия.

Да, а что же, что изменилось-то при переходе? Вот разве тесные чужие ботинки как будто поразносились.

В ночь на годовщину смерти принцип дороги срабатывает куда зрелищней. Многополосное шоссе в центре города, которое я пересекаю, счастливо размахивая плетеным кофтецом из маминой Юности – его только что в старых семейных вещах раскопала бабушка, и я страшно рада находке, и предвкушаю, как сейчас нагоню маму со словами из знаменитой советской комедии: «Вот, батничек достала», – но шоссе слишком многополосное, время светофора на исходе, а я еще посередине и не продвигаюсь; тогда мама, протянув неузнаваемо длинную и сильную руку, вытаскивает меня на ту сторону. Потом, переведя сон на язык суеверий моей стороны мира, я затревожилась, но во сне меня охватила отчетливая радость: это мама пришла мне на помощь, мама сильная, мама поможет всегда. На той стороне мама молода, стройна, в каком-то светлом юбочном костюме со старой студенческой фотографии, которую недавно раскопала в коробке с архивом. На моей стороне она куда больше была похожа на себя, когда шла за трагически молчаливой бабушкой, сердясь на грани срыва, как бывало: мол, мать опять в своем репертуаре, и я, беспокоясь, что нервы доведут ее опять до болезни, упрекаю мягко: «Ты опять прежняя», а проснувшись, удивляюсь, что во сне помню ее уже словно бы другой, переменной, радостной и только такой принимаю за настоящую.

Зазеркальная радость, проснувшись со мной, вступает в день с отраженным знаком. Я не наслаждаюсь поправлением смерти – я гуглю суеверия про обувь мертвых, про их дары, про то, что от них ничего брать нельзя и за ними нельзя следовать – только во сне как удержишься? К полудню за ритуальной кашкой, наполовину размазываемой ребенком по столу, я срываюсь так, как с некоторых пор запретила себе не только говорить – думать о жизни. Я срываюсь, как мама во сне, от какой-то мелочи и кричу, как мне надоело жить – старое присловье в нашей семье из двух человек, не отличавшихся ни сдержанностью в ожиданиях от жизни, ни ленивой бережностью к себе, ни терпеливым упованием на лучшее.

И в третий раз я пугаюсь и хочу решительно поправить себя, но не знаю как, пока не доходит: это не жить я устала, а переживать. Тесные мамины ботинки, и пакет перчаток, который она приносит мне в другой раз аж на стадион, а я мягко отклоняю, мол, ни к чему мне сейчас, и печенка, которую она нажарила по прежнему обыкновению, а я без аппетита, и сам уклад ее жизни, который она в моем сне резюмирует над кучей неразобранных домашних вещей: я, мол, всю жизнь с вещами и тебе предстоит, – а я не спорю, но чувствую, что она не права, я теперь живу в своей семье, с человеком других порядков, и мой способ жить постепенно меняется. Все это – тесные символы прошлого, которое я устала удерживать в себе, единственном свидетеле, которого некому даже поправить, если он заврется.

То, что помнит ее, зажило теперь отраженной, другой судьбой. Неизменно одно – что она моя мать, а я ее дочь, в чем я расписываюсь перед привидевшимся вдруг поклонником ее юности, который недовольно выговаривает мне: ну что за фамилия – Пустовая, и я, внутренне улыбнувшись, хочу напомнить ему, что это фамилия его любимой женщины, а вслух говорю, что поздно, меня уже знают под этим именем, нечего теперь и думать менять.

Судьба – то, что нам не пришлось выбирать. Всю жизнь маму одолевали люди, рожденные под знаком Весов, – дружились, влюблялись, пока не родились у нее, чтобы уж никуда ей от них – от меня – не деться. Всю жизнь маме попадались женщины по имени Татьяна – коллеги и чужие мамы, начальницы. От одной маму рвало на нервной почве, другая задабривала маму подарками в голодное время, чтобы было с кем позастольничать втихую от мужа-араба. Татьяной представилась наша соседка по этажу, которая заглядывала по праздникам, неизменно заказывая маме купить к застолью пельменей, и, по слухам, заболела раньше мамы,

а после ее ухода звонила и, как мне тогда казалось, ревниво спрашивала о причине смерти, и соседка по палате при последней госпитализации – мама потом несколько раз звонила ей, пока не поняла, что ничего утешительного ни одна из них другой не в состоянии сообщить. Попадались, пока не выпало ей уйти в их светлые именины, навсегда связав домашний наш анекдот про Таточек с верой в Провидение, забравшее ее в Татьянин день.

В сказке год прошел, как сон пустой, а у меня – слишком даже насыщенный. В декабре я, покрутившись на ярмарке нонфикшн вокруг канapé и писателей, прикупив пяток книг с машинками и бумажный конструктор большой стройки, выхожу из ЦДХ с чувством, что мир перестал быть прозрачным. Небо поплотнело, отсвечивает городским электрическим светом. В голове приятно булькают мысли про готовку, обновку, тусовку. И все, что меня тревожит, – здесь, в моих руках, и ненадолго: вот сумки дотащить и у мужа выпросить еще немного на книги про транспорт, мальчик ведь у нас, любит.

Окончательно я понимаю, что, кажется, выздоровела, когда пару дней подряд парюсь из-за того, что меня в комментарии назвал слишком умной популярный психолог. Меня проняло этим – серьезно? Меня опять беспокоит, что обо мне случайно сказал посторонний блогер? Бинго, вау, джекпот! Так вот ты какой, ясный ум неотчаявшегося человека.

Утешение – это как ловить черную моль и увидеть наконец, что она, вылетев на веранду, затерялась розовой бабочкой в кругу летних своих подруг. Привиделось мне и такое в начале этого года терапии сном, и мне было дорого во сне, что эту черную бабочку мы ловили, да не поймали вместе с мужем.

Но когда я пытаюсь рассказать ему глубоко потрясший меня – словно разодравший завесу между «там» и «здесь», повернувший реку времени вспять – сон про маму с соломенной ногой, он даже не пытается слушать: мало ли, говорит, что, рассказать тебе сон сумасшедшего – небось и не такое в нем бывает.

Рассказывать сны – дело неблагоприятное, да. На двоих только реальность и счастье. А сон, как горе, не делится.

Как-то раз я слышу с умилением, что муж говорит во сне. Он подбадривает кого-то: давай, дальше, – и поскольку я сама только очнулась от сна про ребенка, то не сомневаюсь: ему снится Самс и он поддерживает его в игре. Не сразу до меня доходит моя логическая ошибка: Самс снился мне, а говорил муж, и значит, обращался он вовсе не к тому, кого видела я.

Сон – событие, но внутренней вселенной. Сон – переход, но незримый. Сон – сказка, но в ней только мне понятный намек.

На исходе года терапии сном мне приснилась недовольная мама, которая просила меня ее отпустить, а заколдованная Киргизия сменилась обетованной Японией, где мама, счастливо смеясь, ловит на морском пляже светящихся белок. В ту же ночь пришли два строгих образа времени – в виде многозубчатых ворот вахты, через которую надо будет успеть вернуться, когда нагуляетесь. Наутро я догадываюсь, что в этот раз мама не приходила – напротив, это мне позволили заглянуть в ее далёко, невообразимое для меня, как никогда не виденная Япония, и требовали свернуть экскурсию к условленному часу.

А под Рождество снились роды. Опустившийся живот, безболезненные схватки, тревога о вызванной акушерке. И мама была там, буднично, едва заметно в общем хлопотливом ожидании.

От сна не слаще, и на Рождество детей у меня не прибыло.

Но к годовщине в Татьянин день прибавилось уверенности.

В том, что в акафисте за единоумершего: «веруем, что недолгой будет разлука наша», – не угрожают и не утешают впустую. А сообщают такую правду, от которой сердце сначала заходится в нетерпении, а потом мурчит умиротворенно.

Сны о встрече – отчаяние ожидания, крик о том, что наша разлука навсегда, и это невыносимо.

Но это единственное, во что я не могу поверить: в разлуку навсегда.

Нет, сны не делятся и не снятся двоим, и моя встреча с мамой во сне – тет-а-тет с моим пониманием смерти.

В котором для меня за год этих встреч открылась главная мотивация к жизни.

Как бы ты ни тосковал по тому, кто ушел, как бы истово ни верил, что недолгой будет разлука, у тебя нет причин торопить вашу встречу.

Потому что там, куда уходят необратимо, нас дождутся наверняка.

Там просто нет меры ни ожиданию, ни отчаянию, ни тоске.

Нет – времени. Доказано во сне.

25 января 2019

А БЫЛ ЛИ МЯЧИК?

До 7 августа улетаю в отпуск – опять на лето к бабушке, как в детстве. Из той поры нашлась самая ранняя любовная фотография: «Это я тебе надоела?.. Это ты мне надоел!» – ответила я тогда другу моему Кольке, и мама до сих пор считает, что лучше мужику не скажешь.

Никогда не скучаю по детству и чувствую, что чем дальше в жизнь, тем ясней и потому счастливей. И все же каждое лето залипаю в стране детства, будто в перине, которую взбивала бабушка, и сама росшая в окружении подушек и думочек, как единственная дочь.

Думочка с вышивкой и пресные сдобнушки – Бабушка, табак и якорь на руке – Дедушка, крапива и деревянная беседка с бабушками – Двор, арык с мутной бурной водой и стадион имени богатыря Курманбека – Город. И Мама, оставшаяся в далекой Москве, во сне обещает сниться каждую ночь и не исполняет обещания.

Недавно у Анны Старобинец прочла набравший популярность пост про то, как отпускать растущую дочь, как не жалеть о мячиках и камушках из моря. У меня пока детей нет, и потому куда больше интересуется, как допускать эту маленькую дочь в себе и тех, кто давно расстался с мячиком. Бывает, подкальываю маму вопросом, обо мне ли она мечтала в детстве, и вдруг вижу ее той, еще не подцепленной к крючку многозаботности, живущей до и помимо меня, играющей в свой мячик. И тут же понимаю: да не было ни у нее, ни у меня, ни у кого – мне кажется – в детстве никакого мячика. А была поломанная рука и оставленная скрипка, была несправедливая четверка и отложенная медаль, были слишком ранние походы к зубному врачу и прыжок за окно классной комнаты от домогавшихся мальчишек, была нервно собирающая вещи мать и отец, тосковавший по морю в окружении голубых гор, – были забота и борьба, стыд и смутность, а мячик – мячик катился вперед, за сибирское студенчество и московский угар, за перестройку и голод, за кропотливое детство уже собственной дочери и за общую нашу борьбу, в итоге сближающую пониманием, что если есть семья, то это мы две друг у друга сейчас, что бы там ни сложилось или ни сложилось с кем еще. Мяч катится и поджидает, когда выдастся наконец минутка смиренного и легкого покоя в душе, чтобы взять его в руки, и встретить, и принять себя наконец маленькой, беззаботной, уверенной в том, что вся твоя жизнь – просто детство. В от начала мира больших, дающих, отеческих руках.

21 июля 2016

Манго из Мьянмы

Хотела бы я первым припомнить случай попонятнее стороннему слушателю, а главное, не такой нелепый и не задействующий авторитетных представителей литературы в анекдоте на манер Хармса. Но это факт, что я впервые рассмеялась, подумав о маме с тех пор, как она ушла, однажды вечером на пути от метро «Каширская» к остановке самого старого и когда-то единственного в нашем районе автобуса, которого, когда мы сюда переехали, было не дожидаться, и пассажиры там, куда я иду, перекрывали шоссе в знак протеста, а потом долго ехали домой, вминаясь в створки дверей и не давая им схлопнуться внутрь, будто придерживая пытающегося упрыгать из-под них кузнечика. Рассмеялась, вспомнив именно эту историю, которую и историей-то не назовешь, потому что, на счастье мое и всех так и не задействованных в ней авторитетных лиц, она все же не случилась на презентации моей первой книги. История, которая не случилась, началась в просторном и теперь навсегда утраченном кабинете главного редактора журнала «Октябрь», ей же принадлежала удачнейшая идея пригласить лиц, авторитетных в литературной критике, и устроить не просто вечер книги, а настоящую дискуссию о судьбах и трансформациях критики, которую в наше время проводят то и дело, чтобы узнать, как по-разному сейчас понимают и пишут критику, и разойтись, нисколько от этого знания не пострадав.

И вот так совпало, что главный редактор тогда особенно следила за собой и на редколлегии, чувствовалось, отвлеклась на запрещенное. На редколлегии утверждался план презентации, как-то скоро приблизившийся к раскадровке стола. На котором, волей главного редактора, уже появились закуски – легкие и шуршащие от приятной хрусткости. «Можно, – давала себе все больше воли главный редактор, – можно немного купить, совсем немного купить можно и чипсов. С сыром, а лучше, – вдруг решила, – лучше с беконом». Сказала – и поперебирала в воздухе пальцами. Бекона ей можно было только так, в легкой присыпке к воображаемым чипсам.

Но я запомнила. Я вообще внимательно запоминаю советы, и даже в одном гороскопе прочла, что такие, как я, всегда благодарны за совет, и больше не удивляюсь, что то и дело встречаю авторитетных лиц, которые планируют за меня ключевые моменты моей жизни. Я запомнила про чипсы и рассказала маме. А мама моя тоже человек авторитетный, но рисующий планы в условиях менее просторных, чем наш главный редактор. Чипсы с беконом у мамы немедленно приняли вид прозрачного бокса с лопаткой в районном «Ашане», где можно накопать хоть с беконом, хоть с крабом, хоть мешок. На столе в просторном зале книжного магазина на Покровке, где предстояло провести презентацию, мама дорисовала мешок чипсов и выпивку.

Это потом главный редактор, возможно свернув диету, а также услышав от директора книжного, что в текущем сезоне принято решение банкеты запретить, придет в ужас, услышав про вино или водку, и чипсы тоже отменит. А мы с мамой, сначала обескураженные, проиграем весь план заново и вдруг расхочемся от нелепой сцены, которой должна была венчаться моя презентация, моя критическая дискуссия, мой торжественный вечер. К столам, на которых водка и силос – мама так и назвала рассыпанный по пластиковым тарелочкам мешок со съестными добавками, – устремляются авторитетные гости и участники дискуссии. Которым героиня вечера, помахивая «Толстой» своей «критикой», такая и говорит: «Что же это вы, Николай Алексеевич, вперед Владимира Ивановича, встаньте-ка сюда, за Ириной Бенционовой, здесь уже очередь к бекону, а водочки вам налить?» Надо учесть, что Николай Алексеевич не кто иной, как заведующий кафедрой литературной критики, профессор Богомолов, из лекции которого на первом курсе я не понимала ни слова и которому на банкете кафедры по случаю защиты моей кандидатской диссертации, млея от невероятного сближения, я предложила положить в тарелочку маринованный грибочек. И услышала то, что запомнила лучше и дороже

лекций: «Без подобострастия, пожалуйста». А Владимир Иванович – не кто иной, как критик, прозаик и языковед Новиков, научный руководитель моей диссертации, запомнившийся тоже сказанным впрямую, но на всю жизнь: «Не могу же я беременной вечернице поставить четыре. Поставлю, а она потом неправильно родит. Я ставлю «Отлично». Я гуманист». Про своего учителя в критике Ирину Бенционовну Роднянскую я вообще молчу: то, что я видела ее однажды на Тверском бульваре в голубом летнем платье с рукавами-фонариками, не дает мне права удерживать ее в очереди к силосу, пусть даже в моем и мамы воображении.

И вот я вспоминаю всю эту невидимую миру чушь и этих людей, о чьем особом месте в моем воображении знала только мама, и впервые чувствую, как смеюсь, заливаюсь в голос по дороге на остановку, толкая коляску и вдруг выталкивая себя в неизвестное науке измерение, где я и мама, расставшиеся как нельзя окончательно, опять заодно и веселимся над только нам понятной, семейной нашей шуткой.

Как критик я никогда не справлюсь с одним, сколько бы книг, своих и чужих, ни презентовала: не разберусь, как передать особенный стиль моей мамы, который и мне-то стал виден, только когда она наконец научилась вбивать «толстым пальцем» (еще один семейный наш мем) сообщения в телефон и я вместо нелепостей типа «газетку кых» – то есть купила мне четверговое приложение «НГ-Экслибрис» в ларьке прессы у Красногвардейской, где на рублей пять дешевле, – стала получать от нее послания, замечательные по краткости, резвости и ехидству. Ее сообщения – задокументированная материнская забота, но и – нетривиальность, неподражательная и ржательная странность, легкая головная бекрень, благодаря которой мама к моим двадцати пяти наконец смогла въехать в специфику моего профессионального и творческого мира и, переводя язык редколлегий на язык завсегда «Ашана», метко разгадывать и запросто решать все мои критические и корпоративные затруднения.

Она была первой, с кем я убедилась, что для точного и глубокого понимания вовсе не требуется разделять профессию, опыт и увлечения собеседника.

Требуется другое: совпасть с ним в том, что он предпочитает прятать.

У меня ни с кем не получится больше похихотать, как с мамой, потому что не с кем разделить наш стыд. Эту семейную жалливинку. Бабскую нашу нелепость. Висельный восторг.

Это юмор нелепо устроенных людей, которые верят, что, сколько ни глупи, повезет. Потому ли, что Богу весело с дураками, потому ли, что они верят в финальный отыгрыш добра, а себя считают, сколько ни ругаются, добрыми, потому ли, что они решили, будто судьба забудет про них с их тыквенным домиком и бравым аппетитом, как большой мир забыл о веселых хоббитах.

Моя бабушка сказала о ловкой соседке: она умеет жить. Сказала с признанием – и пренебрежением. В нашей семье немодно уметь жить. Потому что с теми, кто умеет, никогда так глупо не похихочешь.

Те, кто умеет, звонили маме, когда она зависала у бабушки, и звали ее, словно молодую батрачку от госпожи. «Купи персиков, – просила одна бабка, дотащившая до двора слоновьи свои ноги, – купи, а то дочка вечно не то принесет». Пожилая хозяйка сада, который некому обирать, хватаясь за спину, просила маму подвинуть железную лестницу под виноградник. А ловкая соседка позвонила просить за вдову – помыть отошедшего мужа. Заказать омовение в морге, как выяснила моя мама позже, вдове показалось дорого, а соседке мыть – боязно.

И кто здесь выглядит смешней и нелепей – мама за шестьдесят, потащившаяся мыть покойника в кругу молча обступивших и ни шагом не помогающих мужчин, или соседка за семьдесят, которая все еще боится мертвых, зато, подкатив на похоронном автобусе до кладбища, сообразила пробежаться между делом до могилы и своего мужика, а после поминок звонила маме с вопросом: «Чё не пришла угоститься?» Ну и что, что не звали, – тут, в Азии, угощают всех.

Как это работает? Что за музыка запускается в маме, стоило вдове тренькнуть с просьбой забрать теперь мыло и полотенце от покойника, – и пружинку прижать: «Брезгуешь, да?» «Конечно, – сказала мама, – конечно, – сказала она мне, – я тут же сказала: давайте».

Маме следовало отказаться, но та, кто могла бы сказать «нет» вдове с ее ритуальным мылом, не поехала бы и к матери в стильную квартиру без отопления и обогревателя, без возможности остаться на старости в покое.

«Спокойной жизни, – сказала я, – спокойной и размеренной жизни», – сказала я последнему из маминых ухажеров, благополучно женатому мужчине без материальных и жилищных проблем, изумительно готовившему салат с каракатицами, выровнявшему нам на кухне потолок и по сей день высылающему мне редкие поминальные сообщения в ватсапе, – спокойной и размеренной жизни – вот единственное, пожалуй, чего маме действительно не хватило. Сказала – и неожиданно получила утешение. «А, спокойная и размеренная жизнь, – ответил он, – так надоедает».

От этого чужого нам мужчины я ждала меньше всего, но именно он рассказал мне, как чувствовал мамину боль в месяц перед ее уходом – по датам, сказал, могу вспомнить, – и как она потом приходила к нему, и он не боялся, потому что так приходили к нему одна за другой покойные бездетные тетки, оставившие ему свои московские квартиры с котами и библиотеками. И поэтому только от него я готова была принять вообще-то пустой совет – отпустить маму, чтобы она могла спокойно и размеренно отбыть.

С ним, пожалуй, да, с человеком, которого, ввиду их с мамой закадровых отношений, я не могу назвать на домашние поминальные посиделки, с ним одним я сегодня повспоминала бы маму. С кем же еще? Когда она ушла, первое острое сожаление мое было – не успела, так и не успела записать ее голосом рассказанную историю о нашем семейном прошлом. История записана с ее слов, и есть тетрадка, где начисто перерисовано недолгое наше, но развесистое родовое древо, но я хотела бы проиграть себе эту аудиокнигу, где мама рассказывает о драмах и разочарованиях такой давности, что не болит. Я хотела себе эту сказку о нас ее голосом, но мама, пока болела, хотела говорить о чем угодно, кроме семейного прошлого, и вспоминала просмотренные с утра сериалы, школьные обиды, студенческий угар, ее страх в моей больнице, придурь бесчисленных в молодости ухажеров. Я жалела отчаянно – и только через полгода, съездив по стопам мамы к бабушке, успокоилась.

«Хорошо, – сказала я, – хорошо, – сказала я себе, – хорошо, что мы с мамой успели поговорить о ней самой». Потому что за эти полгода выяснилось: больше о ней поговорить не с кем.

Лучшая подруга мамы, подменявшая маму мне, когда моя когда-то слегла в больницу с кровотечением и едва не истекла жизнью, пока врачи в уже постсоветской больнице оперировали блатных и дожимали взятку, – эта вторая мама моего детства прозвонится однажды с трудом и скажет, что ей чего-то не хватает. Обычно, сказала, я звонила Жене, а тут не хватает – некому, оказалось, теперь позвонить.

Русская авантюристка, у которой мама работала в девяностые и наблюдала, как та дожимала покровителя из Эмиратов до второго и позднего брака, и с которой они как-то раз вызывали рабочих, чтобы добыть мамин паспорт и ключи из свалки, куда их вместе с маминкой сумкой выбросил не вовремя вернувшийся домой араб, ревновавший к русской дружбе и пьянке, сказала мне в воркующей своей манере, непререкаемой ни для араба, не готового жениться, ни для мамы, не готовой столько пить, сказала: «Ну уж ты так не убивайся», стоило мне, почуяв общую почву воспоминаний, рассестись плакать.

Мамина одноклассница и подруга детства, с которой я долго обговариваю уютный прием у нее дома с пловом, самсой и молодыми воспоминаниями, зазовет на угощение незнакомую мне татарку Флюру, и мы, пригубив за маму, пустимся обсуждать дела внучек и правнучек, перспективы сыновей, пользу разжеванных виноградных косточек.

Мамина мама, с которой у меня раз только ёкнуло за месяц лета у нее – когда она припомнила, как маме однажды понравился директор совхоза имени Ленина. Я наострилась, готовясь услышать упущенную в маминых беспорядочных воспоминаниях историю, и бабушка подогрела мое внимание, поведав, что мама про директора действительно как-то сказала: «Вот за такого бы... – ах, думаю, неужели замуж? – за такого бы, – продолжила бабушка, – можно голосовать». Оказалось, мы обсуждаем тайную жизнь не мамы, а кандидата в президенты Грудина.

Я привыкаю не нарываться, не вестись – ни с кем не говорить о маме – и сама вскоре прочно чувствую, что тут и говорить не о чем: мама уехала, бывает, уехала туда, откуда не позвонить, тут нечего обсуждать, ничего не случилось, и вспоминать нет повода.

И страшно бешусь, когда дочь ловкой соседки, которой бабушка, наоборот, сняв блокаду на горе через полгода, наконец рассказала о нашей утрате, – когда она взрывает мою спокойную и размеренную без мамы жизнь потоком соболезнований в чате.

Я не верю соболезнованиям, как не верю горю, которое они разблокируют, – кто просил? Во время десятидневной сессии по следам утраты психолог скажет, разом отпуская мне все мои виноватые, колкие, измызганные, но цепко и бережно удерживаемые сокрушения перед мамой: это чувство утраты, это к вам стучится чувство утраты через ваше обычное чувство вины, потому что другие сигналы вы не привыкли слышать.

А когда не достукивается изнутри, звонят с городского – и я беру трубку в метро между поездами и успеваю провести самый смешной и нелепый диалог в своей жизни, о котором я хотела бы рассказать маме, чтобы похохотать. Через полгода после маминой смерти мне дозволилась патронажная сестра из поликлиники с вопросом: «Евгения Николаевна сама к нам ходит или под домашним наблюдением?» Я издаю смешной и нелепый подхих, сообщая ей, что Евгения Николаевна полгода назад умерла. И она, взбудораженная новостью, но не растроганная, успевает пролепетать на мой уточняющий вопрос, что она звонит, потому что им «пришли списки». Что за списки, я не успеваю узнать, потому что поезд приходит, трубку вешают и после не берут, а в поликлинике ко мне выходит патронажная сестра другая, и она знать ничего не знает о списках, но предполагает, что могли позвонить, чтобы закрыть страховой полис.

И когда, выслушав от друзей в чате, что это возмутительно, а сама возмущаясь куда меньше тем, что позвонили, и куда больше тем, что – напомнили, я прихожу дорыдывать домой и принимаюсь разгружать душу и шкафчик с книгами по искусству, то неожиданно получаю напоминалку, о какой и не мечтала. Между буклетами из путешествий нахожу тонкую тетрадь, исписанную от руки и забытую здесь на годы. Это моя мама вела заметки в одном из двух своих заграничных выездов, во Франции. В Италии и Франции моя мама была счастлива. В Италии и Франции десять дней моя мама умела жить, и, пока все, сгруппировавшись, потащились в Версаль, она, к примеру, спокойно и размеренно обошла центр Парижа. Ее морской обед на Капри, куда ее едва уговорили ехать за дополнительную плату, она вспоминала как апокриф о пире в раю.

Пир на Капри и зима с ноющей утробой и душой. Везука и непруха. Все, что Бог ни делает, к лучшему – и: зачем допустил, Господи?

При татарке Флюре я поддерживаю застольный разговор о погоде и припомню эту мамину зиму. Какая холодная, скажу, была эта зима. И встречу недоумение: нет, теплая и быстро прошла. Конечно, я перепутала: ведь эта зима была уже не мамина, эта теплая зима уже ее не ждала, а та, год назад, почему именно та зима в Киргизии, где когда-то, мама рассказывала, дети гурьбой наваливались на горстку снега и полоску льда во дворе, истаявших к вечеру, – именно год назад, именно для мамы, аккурат в ее единственный год у бабушки, оказалась такой затяжной и холодной?

Сколько раз мы с ней глупили. Покупали испорченную рыбу, ненужную технику, забывали деньги, не защелкивали дверь, ехали без билета, возвращались по темноте, связывались с незнакомцем, а как-то раз приволокли громоздкое, армейски зеленое пальто с Черкизона и,

уже выходя с добычей из домашней станции метро, обнаружили, что одна пуговица разломана, и, горюя и стеноя, поволоклись за полтора часа ходу обратно. И нам меняли пальто, и возвращали деньги, и мы сбегали, и выворачивались, и упрасивали, и выигрывали, и находили. Бог миловал, выручал, подфартивал. Жалел.

Доверчивым и спешным шагом человека, привыкшего охотно следовать, куда позовут, потому что раз позовут – не обидят, мама отправилась к бабушке, порадовавшись, что не потеряет в деньгах: девочка, с которой она подрабатывала няней после ухода на пенсию, как раз отбывала на ПМЖ во Францию с папой-французом.

Ни намека, что надо бы задержаться, остаться, свистать всех наверх, полундра, на баке швабра горит – как шутил наш дедушка-моряк, – как ни намека, что у рачительной на работу садоводки, приставшей к маме с железной своей лестницей, были, оказывается, и в Джалал-Абаде знакомые онкологи.

Бог спрятал намеки, чтобы не отвлекать, не сбивать с пути. Катер на Капри уже завелся, и маме с пира в открытое море не соскочить.

Хотя я до последнего верила, что выкрутится. Коллега настроила: «Это жизнь, пусть и с болезнью, но – жизнь», и я длила жизнь, как невозможно долгую паузу перед решительным шагом, и наше последнее путешествие в два конца – туда, в больницу, и обратно, домой, в мамыны последние на земле выходные я, по нашему с ней обыкновению заново – со вкусом и смехом – вспоминать миновавшие трудности, начала было обсуждать с ней, веселясь, и вдруг была прервана ею в другом тоне, и обмерла не от смеха: ничего смешного, сказала мама, это было – предсмертное. Обмерла на миг – и не поверила и так и запомнила тот субботний вечер: смутно веселым, радостным оттого, что жизнь длится, и мы с мамой, и снова дома, где ей, как жизнь показала, оставаться назначено было четыре неполных дня.

Я начинаю понимать, почему мама любила заунывные, грустные песни. Ей было с кем похихотать, но не с кем поплакать. Чья-то рифмованная грусть на полевой мотивчик давала отмашку на запасный выход печали.

На диске старых, по годам разложенных фотографий я нашла видео, которое нельзя сейчас смотреть. Не потому, что больно, просто, записывая это четыре года назад, за три с половиной года до ее смерти, я сглупила, не приняв во внимание шум в суши-кафе, куда мы отправились отмечать мамин день рождения.

За пятисотку мне немного вытянули звук, и я поняла с грустью, что в мамыны признания в тот день я вслушалась не более, чем в шум.

Мы умели праздновать, веселиться после бури, отмечать удачу после риска, мечтать о вкусном и перебирать нарядное. Мы умели посмеяться – и никогда не плакали.

Вместе – нет, не плакали, не умели вместе, слезы нас разлучали, и каждая злилась, если другой плохо, потому что каждой хотелось, чтобы другой было хорошо.

Когда маме было хорошо, она разрешала себе покушать, выпить, потянуться – и попечалиться.

Я вижу это только сейчас, на этом видео, где самые печальные слова не разобрать, зато хорошо слышен мой подкручивающий праздничное напряжение в маме задор. Я с детства не любила, когда она выпивала. Потому что боялась ее расслабленную. Вольную, печальную, равнодушную к тому, как нам накушаться и повеселиться.

На этом видео я так беспокоюсь, не мешаю ли маме веселиться, что не замечаю, как мешаю ей распечалиться.

До сих пор в воображении я подключаю ее к нашему с ребенком празднику. Тридцать пять лет совместной жизни – достаточный срок, чтобы еще столько же и больше проигрывать показательные диалоги, как из учебника по иностранному языку, зная наперед – вспоминая назад, что мама сейчас ответит. Что ее точно рассмешит, возмутит, удивит, растрогает.

Наша попа рождена сверкать. Ты лучок или все-таки чесночок? Мусор или мама – что мы вынесем, что оставим? Писа хищная, спрячем ее, а то обольет. Вырастет из сына свин, если мать свинёнок. Как много детей, откуда тут столько детей развелось? Пришла хлебная палочка и сказала: кусь тебя! Я несую эту глупость с удовольствием, громко, на публику, уверенная, что поймает и поймет та, которая возражала мне, что зато кашка меня хочет, и стягивала одеяло за уголок, гудя побудно одеяльным, ватным таким тоном: «Прощай, девочка!» – и ложилась со мной спать, сетуя, что прогонят, когда захрапит, и безропотно уходила ночью с подушкой, когда прогоняли, и верила в сиреневую Поспатеньку, которая жила в детской скрипке, пока не продали на Авито, а теперь живет в моих рассказах малышу, и летит, летит сиреневая Поспатенька, и надо тише, а то спугнешь.

А есть ведь глупость непередаваемая, такая, что ни в сказке, ни в блоге не сказать, взять хоть мои домашние прозвища, одно из которых мелькает на видео, воскрешая в памяти второй эпизод, который пробил в моей утрате смеховую брешь: как мама случайно встретила меня, споро несущуюся к переходу на Земляном валу, и схватила, едва на скорости удержав. Крыс неся – и был пойман за хвост, – долго смеялись мы, потому что сам факт, что мама зовет дочку Крысой, давно вошел в обиход и перестал смешить.

Крысой и свинкой, а в мою беременность мама и вовсе зарвалась и вскричала: «Ты, маленькая свиница!» – когда я утекала из-под ее воли на какую-то тусовку.

С этим воплем сорвавшейся с управления любви сравнится только давнее, вошедшее в золотой фонд семейных анекдотов, сказанное из глубины сердца мне, набившей ранним дошкольным утром щеки полезным завтраком, да так, с полными щеками, и дремлющей над тарелкой: «Ешь, проклятый хомяк!»

Что мамина самая частая присказка в отношении меня была: «Ах ты, гадость!» – логически объяснить трудно, зато легко понять, почему я, когда тоже не в силах сдержаться, хватаю ребенка и восклицаю в восторге: «Какая гадость!»

«Я шла и пела песню о Пилецки», – часто говорила мама, торопливо заходя домой с темной холодной улицы после темного рабочего дня. Почему меня так назвала и когда начала звать, уже не разгадать. Зато понятно, почему она про это пела – на мотив советской эстрадной песни про светофор.

Она шла и пела песню обо мне, потому что я была ее свет в домашнем окне, потому что больше петь ей было не о ком, потому что мы одни друг у друга, потому что мы семья из двух человек, и потому, как бы я ее ни огорчала, ни раздражала, ни печалила, ни утекала из-под ее воли, она шла и пела песню о Пилецки, чтобы согреться напоминанием о лучшем в своей жизни.

Так теперь пою и я песни про Самсона. Во всю глотку, не дожидаясь конца материнского рабочего дня, в полном свете домашней радости.

Однажды муж напомнит мне мамину песню, когда вернется после работы ко мне, беременной и хлопчущей на кухне, и скажет про меня с редкой нежностью в голосе: «А я иду, смотрю в окне – ходит». Однажды он напомнит мне и нашу с мамой бесшабашную глупость, когда мы захохотем с ним над грудой годы не пригождающихся вещей на захламленной лоджии. «А этот таз с котятками зачем?» – спросит. «Варенье варить!» – уверенно и по-хозяйски отвечу я. «Понятно, – ответит, уже срываясь на редкую улыбку. – А по сути?» И мы оба хохочем от этой глупости: хранить таз для варенья, зная, что никогда не возьмемся варить.

Полную банку консервов из манго – «Манго из Мьянмы», с надписью на банке: «Люблю жизнь» – я увидела сейчас в магазине восточных товаров, недавно открывшемся в нашем ТЦ.

Увидела, перечла надпись на банке и содрогнулась. Такая точно банка из Мьянмы осталась несъеденной, потому что была куплена маме в ее последний день дома, за три дня до смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.